

Неизвестная Россия

2 ГРАЖДАНЕ НОЧИ



Граждане НОЧИ

НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

СП «ВСЯ МОСКВА»

1991

ББК 84Р7-5
Г 75

Составитель **Ольга Чугай**
Оформление **Владимира Вторенко**

Г 75 Граждане ночи: Неизвестная-Россия. — СП «Вся Москва»,
1990. — с.

ISBN 5-7110-0011-X

ББК 84Р7-5

© СП «Вся Москва», 1991

© Составление. Оформление, ПК «Оригинал», 1991

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

* * *

Сторона моя ленью хитра.
Транспаранты и партии шатки.
Мы живем от Петра до Петра.
В промежутках играем в лошадки.
Города истекают вином,
Ходят тракторы степью погожей,
Но терпенье шагреновой кожей
Шевелится в углу потайном.

На распиле — с полсотни колец,
Тишина топорами измята.
«Солженицын» звучит, как «подлец»,
«Ходасевич» — обиднее мата.
Пастернак в расфасовке пайка,
Маяковский на стенде стеклянном.
Но молчим, заслоняя стаканом,
Потому что терпимо пока.

Нет, не бисером кормят свиней.
Я бы тоже пошел в дровосеки,
Если б был хоть немного сильней,
Если б шапка сидела на Сеньке.
Я бы речи в эфир говорил,
Ядохнул бы морозом по коже.
Но хвала тебе, Господи Боже,
Что ягненком меня сотворил!

* * *

Поставили гром на колеса
в обзор до великих озер.
Я — мертвое поле покоса,
топчи меня, вражий дозор.

В саду городских новоселий
сентябрьский горит адресок.

Погони чертеж невеселый
кладут на гавайский песок.

Побег провалился, зато ты
глядел с кругосветных галер,
как медленный порох заботы
в можайское небо горел.

И вскоре присяжный святитель
заставит признать со стыдом,
что ты уцелел как свидетель,
а время твое — под судом.

Напрасно поругано братство
и детство, где ты не бывал
с тех пор, как в патетику Брамса
бикфордовы гвозди вбивал.

Срастаются в Этну напевы —
сарматским лицом безволос,
солист иософатской капеллы
гранитное соло вознес.

Я честный плательщик налогов,
висящий над этой дырой —
не то, что писатель Набоков,
он бабочек мучить герой.

Сравниется наша зарплата
и певчая сила точь-в-точь,
когда пустырями заката
нас бабочки выведут в ночь.

* * *

Однажды вспомни — все-таки зачтется,
однажды память окуни свою
в забытых улиц топкие болотца,
где я поныне, кажется, стою.

Как будто воздух намертво врисован,
а на лице — разлуки борозда,
где сквозь меня на бляющих рессорах
трамвайные несутся поезда.

Где по утрам любви неизлечимей,
где по ночам безрадостнее сна,
где приторнее патоки, Пуччини
струится из чердачного окна.

Я только в этом кое-что и значу,
к забвению бестрепетно готов,
как будто покрываю недостачу
афишных тумб и уличных котов,

как будто снегом затепло напичкан...
И уплатить по счету за века
вселенная подпившей невротичкой
бросается в оскал грузовика.

* * *

Ситуация А. Человек возвратился с попойки
В свой покинутый дом, на простор незастеленной койки,
Как шахтерская лампа спускается в душный забой.
Он подобен корове в канун обязательной дойки,
Но доярка в запое, и что ему делать с собой?
Он посмотрит в окно, где свинцовые звезды навывлет,
Сигарету зажжет, бельевую веревку намылит,
И неловко повиснет, скрипя потолочной скобой.

Ситуация Б. Соблюдая отцовский обычай,
Он пройдет до конца по тропе орденов и отличий,
Сохраняя почет и пристойный достаток в семье.
Но проснется душа, словно осенью выводок птичий,
И останется плоть остывать на садовой скамье.
Он ложится навек под простор незастеленных пашен,
Погребальный пиджак орденами богато украшен.
Что он выиграл, бедный, с нетронутой болью в лице?

Ситуация А. Ситуация Б. Ситуация С...

* * *

Напиши мне письмо. Я не верю звонкам и свиданьям.
Приближается время сквитать понемногу долги.

Даже если в дожди, даже если придет с опозданием —
напиши мне, что любишь. А если не любишь — солги!

Напиши мне сегодня, не медли, еще до рассвета.
Словно мертвые птицы, лежат на земле города.
Напиши мне письмо, даже если не хочешь ответа,
напиши мне письмо, даже если не помнишь, куда.

Я забыл обо всем, я скитаюсь неделями кряду
на Садовом кольце, словно парус в беззвездной глуши.
Отрекись от себя. Напиши мне любую неправду.

Напиши мне письмо. Напиши,
напиши,
напиши!..

* * *

В этот год передышки от кутежей и охот
говорил мне врач затевая обход
не кори меня фрейдом все ж таки там европа
там и виски с содовой и лед даровой а здесь
со времен батяня хоть пей хоть в петлю лезь
перегрев воды недолив

(в этот медленный год дожидаясь конца зимы
я друзьям по палате таблетки ссужал взаймы
скрежетали дни словно в шлюзе цепные звенья
по утрам сторожил на уборку шагал с ведром
променяв свободу на корсаковский синдром
и на бред подозренья

календарь уверял что покуда мы здесь лежим
в двух столицах земли успешно сменен режим
два народных вождя безутешно почили в бозе
но со всей москвы словно редкую дичь в музей
два кряжистых атлета везли нам новых друзей
на лихом чумовозе)

Я ответил ему мне до лампочки фрейд и фромм
раз уж перхоть пошла то спокойнее топором
я знаток златоуста и с ангелами на ты я
но скажи мне блюстителю с клистирным жезлом в говне
отчего эта перхоть все время лежит на мне
от молодых ногтей со времен батяня .

Рисунок

Облака весенние легки,
вся земля — коврига непочатая,
и ползут из-под нее жуки,
словно их там с матрицы печатают.

И летят квадригами шмели,
и гуляют школьницы по скверику,
и плывут по морю корабли,
далеко. Наверное, в Америку.

* * *

отверни гидрант и вода тверда
ни умыть лица ни набрать ведра
и насос перегрыз ремни
затупился лом не берет кирка
потому что как смерть вода крепка
хоть совсем ее отмени

все события в ней отразились врозь
хоть рояль на соседа с балкона сбрось
он как новенький невредим
и язык во рту нестерпимо бел
видно пили мы разведенный мел
а теперь его так едим

беспольный звук из воды возник
не проходит воздух в глухой тростник
захлебнулась твоя свирель
прозвенит гранит по краям ведра
но в замерзшем времени нет вреда
для растений звезд и зверей

потому что слеп известковый мозг
потому что мир это горный воск
застывающий без труда
и в колодезном круге верней чем ты
навсегда отразились его черты
эта каменная вода

* * *

Где пролегла бессонницы граница,
в чужом краю, в знобящем полусне,
я видел мира звездную гробницу,
распластанную сеть по стене,

Застигнутый спросонок, спозаранку,
не в силах яви помыслом объять,
я видел гор гремучую изнанку
и стрелы рек, обернутые вспять.

А на востоке в паволоке сонной,
где ветер тучи круто замесил,
всплывало солнце в камере кессонной
и чуть поодаль падало без сил.

И пламенем в разомкнутые веки,
острей цикуты в стынувшей крови,
оно шептало: ныне и вовеки,
оно хрипело: тронь и оборви!

Но в миг, когда в сметеньи безотрадном
я поводил немеющим плечом,
нагрянул день карательным отрядом,
окатывая стены кумачом.

Лишь временами, пробивая панцирь
загородивших будущее лет,
я узнаю по отпечаткам пальцев
своей руки неизгладимый след.

Антициклон

Истаскались мы, пообнищали,
снежным порохом полна сума.
Из всего, что нам наобещали,
исполняется одна зима.

Исполняется, и ты не сетуй,
удержись от поправимых слез.
На сто лет накрученной кассетой
выплюнуло радио прогноз.

То ли лиственница, то ли ива —
что за дерево, который век?
Дремлет улица неторопливо,
словно гусеница на траве.

Ах ты гусеница, божья птичка!
Понацелились твои дома
самосвалами на перемышку,
Вашингтонами на Потомак.

И не сдвинутся, не бросят жребий,
только плятятся на запад, где
облако, как сизый хвост жеребий,
сотни лет полощется в воде.

По утрам перегрызаем вены,
но и кровь не покидает вен.
Радио молчит проникновенно.
Радио не хочет перемен.

* * *

Без времени пора, без скуки ожидания,
и канувших обид стоячая вода.
Гостиничным клеймом блестя на чемодане,
как дерево листву, меняю поезда.

Огнями острова в колесном перестуке
не выискать забот в безмолвии таком.
И дремлют города, отогревая руки,
у цинковых бачков с бесплатным кипятком.

Взрвет локомотив сиреной санитарной,
оденутся поля в больничное белье,
и вновь спешит земля в заиндевелый тамбур
увидеть из окна рождение свое.

Пылает Антарес на крышке семафорной,
и надо подождать зеленого огня,
но мир уходит в ночь перронами платформы,
в пакгаузной пыли тревогу хороня.

Кораллы проводов, соцветия бетона,
расцветенных орбит тугие вензеля,
и вновь мне выходить на тихой и зеленой,
на выбранной давно, на станции Земля.

Ватерлоо

Нас обrekli, нас предали, пойми!
За черным рвом колышется пехота,
и ставок больше нет — один к семи,
на Дон-Кихота, топ апі, на Дон-Кихота!

Пока торчишь в цепи подобием звена,
к чужой земле со всех сторон прикован,
о, лучше сто неперейденных Рубиконов,
чем перейденная одна Березина!

Застыл партер в намеренной глуши,
премьера ждет, а ноги как из ваты.
Когда б не этот червь, коррозия души,
ее кровоточащие стигматы!

Густая изморозь томит луга,
плюет в лицо мокротой гриппозной.
Бежать, оставить эти берега!
Трубить отбой, пока еще не поздно!

Ты в нерешительности. Ты молчишь.
Нахмурился Ла-Манш. Теперь попробуй
уйти назад, где Франция до крыш
упрятана в российские сугробы...

Вариации для левой руки

1

Природа слов тепла не лишена,
В них наши искры тайные повисли.
Я все отдам за слово «тишина»,
За слово «жизнь» в его прощальном смысле.

В решетку типографскую дождя
Заключены мы, пленники Линнея;
Чем прозвучишь, что скажешь, уходя, —
Все выживет, в фонамах камня.

На будущие вечные дела,
Как сноп кистей, олифу и белила,
Пригоршню слов природа мне дала,
Кровоточащей глоткой наделила.

И чтобы свет сознания не мерк,
Чтоб серый холст не проступал в изъяне,
Горит, горит словесный фейерверк,
Скрывая хвост и сумрак обезьяний.

Как откровенны эти кружева,
Подобны полдню над безлистой чашей.
Плетись, Пегас, пока душа жива,
Вперед и вверх по лестнице звучащей.

2

Бывает, заплаканный разум
Простор у восторга крадет,
На все предстоящее разом
Горчайшие тени кладет.

Бывает, нахмурится строго,
Сорвется в трагический треп
И сердцу до смертного срока
Не выведать солнечных троп.

Пускай это кажется басней,
Насмешкой над чувством твоим,
Но слово гораздо опасней
Предмета, хранимого им.

Лишь глупый (читайте: везучий)
Прорвется, как вечный кашей,
Сквозь мрак полумертвых созвучий
К нетронутой сути вещей.

3

Но речь невесомей, чем ты говоришь.
В ней смысла едва на треть.
Одна планета, один Париж —

Увидеть и умереть.
Найди этот путь, он вернее в любом
Повороте в тысячу раз,
Чем так, выживая, стучаться лбом
В стекло мозаичных фраз.
В тисках известковых бескостный коралл,
Пойми, что ты — это тот,
Кто ползать учился, пеленки марал
И лил любовный пот.
Она в оболочке, дождливая грусть,
А внутренности чисты.
Вот будешь ты гол, как общипанный гусь,
Но пусть это будешь ты.
Вот так и жить, избегая смут,
Бесхитростней кулика.
Пробьет пора, и тебя возьмут
С Парижем, туда, в облака.

4

Да, оскудел, но не настолько.
Впустую сердцем не криви.
Еще не выдохлась настойка
Чернил, полыни и любви.
Еще полмира в колымаге
С нележкой жостью по углам.
Побудь собой, верни бумаге
Любовь с изменой пополам!
Еще леса топорщат кроны,
И в пальцах жив гитарный зуд,
Пока по венам электроны
От плюса к минусу текут.

* * *

Белая горячка
Под моим окном...

Что-то рассудком я нынче нетверд,
самое время подать в неотложку,
Кант и Спиноза, Косыгин и Форд
сели на кухне, жуют понемножку.

В солнечном черепе мозг невесом,
сердце в куски от неистовой ласки —
выйду на кухню, пройдуся колесом,
всех расцелую в припухшие глазки.
Вон, за трубой, различаете, кто там?
Это же Бойль со своим Мариоттом.

Гей, долгожданные, с кем по рублю?
Форда не трону, Косыгина тоже.
Канта я, в принципе, больше люблю,
но и Спинозу обидеть негоже.
Форда за водкой гонять не с руки.
Канта трясет алкогольная рвота.
В комнате музыка, бьют каблуки,
Бойль в полонезе ведет Мариотта.
Дверь нараспашку, заходит сосед.
Справа Ортега, а слева Гассет.

Дырка во времени. Ищем иглу.
Сутки буксуют по липкому снегу,
Бойль Мариотта облапил в углу.
Пьяный Гассет обнимает Ортегу.
Форд и Косыгин на кухне пластом.
Кант к умывальнику прет, как торпеда.
Кто меня вышил болгарским крестом
на полотенце похмельного бреда?
Дырка во времени. Свет из окна.
Дверь нараспашку. Заходит она.

Голые лица. Пустой кабинет.
Вот мои пальцы — по-прежнему десять.
Имя и отчество. Имени нет.
Отчество есть. Но куда же привесить?
Гордый микроб на предметном стекле.
Вкрадчивый доктор — катись, образина!
Белый мешок на стерильном столе
бьется навзрыд под иглой сульфазина.
Парочка мускулов, крови бадья —
где же ты, девочка, птичка моя.

Липкая лимфа, кровавый бульон,
легких страстей новогодняя елка...
Странный диагноз: немного влюблен.
Редкая хворь азиатского толка.

В воздухе мозга до боли бело.
Темное слово, как муха в салате.
Смерть санитаром с косою наголо.
Жизнь пополам науток по палате.
Сто же, дуреха, пробило двена...
Дверь нараспашку. Заходит она.

Клейкие мысли, ночные коты,
похоти поступь по крышам гудящим.
Разве ж я не был таким же, как ты,
Темноголовым и прямоходящим?
Прежнего тела теперь ни следа,
тело берет флажолетную ноту.
Левую ногу люблю навсегда,
с правой приходится жить по расчету.
Долго хранит мой изящный скелет
вражеской пули отчетливый след.

Флаг на лафете. Оструганный крест.
Над головой золотится икона.
Мне не подняться на мой Эверест,
не перейти моего Рубикона.
Электрошоком пронзило виски,
дни сочтены, как походные спички,
Бейте, терзайте меня на куски,
белые рыцари анатомички!
Тих я и робок, того и гляди —
сам в габардине, медаль на груди.

Бог изобрел притяженье планет.
Кто ж о сердцах позаботится, Боже?
Имя и отчество. Имени нет.
Отчества нет. И фамилии тоже.
Вечная девочка, лед с молоком!
Жить — не наука, любить — не работа.
Спать тебе насмерть с моим двойником
в поте любви до смертельного пота.
Где-то на воле под левым ребром
женское сердце горит серебром.

Прежняя девочка, лед не вода!
Вексель подписан, а выплатить нечем.
Может, и не было нас никогда —
что ж мы друг друга наотмашь калечим!

Свет между нами высок и упруг,
сердце мертво, как вареная свекла.
Жизнь вырывается птичкой из рук,
бьется с размаху в холодные стекла,
в лобные доли стучит белена.
Дверь нараспашку. Заходит она.

Форд, к фортепьяно, Косыгин, играй!
День на панели деньгу зашибает.
Что это, Господи — прорванный край —
дырка во времени — Кант зашивает.
Прошлое с будущим сводит игла.
Гонит аорта больничную плазму.
Нежные стоны плывут из угла —
Бойль Мариотта подводит к оргазму.
Рядом на койке потеет сосед.
Снизу Ортега, а сверху Гассет.

Пой мне, Спинозушка, жарь о былом,
лей по второму — авось, одуреем!
Что же я дактилем пру напролом
там, где верней деликатным хореем?
Ловкая смерть напрягла тетиву,
Ровная сила без примеси такта.
Стой, сумасшедшая, дай доживу,
прежде умел, выходило же как-то.
Кажется, поздно, — ору ни о ком.
Пляшет стрела под худым кадыком.

С Бойлем в порядке. Ортега хорош.
Форд подбивает Косыгина в Сочи.
День разменял сэкономленный грош,
с песней ползет по обочине ночи.
В ванную жизни войду не спеша —
кто мне привидится в зеркале голом?
Может, и вправду бессмертна душа?
Надо проверить бутылочным сколом.
Первая вена в надрезе видна.
Первая кровь заливает рубашку.
Сказано — сделано. Дверь нараспашку
Дверь нараспашку. Заходит она.

* * *

не притязая на глубину ума
все же отмечу в последнее время не с кем
словом обмолвиться ни обменяться веским
взглядом ввиду отсутствия слова в карма-
не оболещен кругосветным застольем одесским
а в остальные пока не вхож дома

бывший герой перестрелок бульварных
ныне за словом в проруби шарю донкой
наедине с собой словно кот в трюме
перестаю разбираться в оптике тонкой
поднаторевший во всем помыкать в семье
с детства уже ничем не взорву этот плоский
стиль и пишу с анжабман как иосиф бродский
чтоб от его лица возразить себе

даже дефектом оптики не страдаю
свет отражения не удержать в горстях
впору в трюме огласить манифест и будто
дело к реформе но как обойтись без бунта
где-то под тверью в неведомых волостях.

* * *

Преподнесенный осени заочно,
в префектные одетый времена,
я блеклый поэтический подстрочник,
не видевший в глаза оригинал.

В расстрепанном весеннем солнцепаде,
ноябрьскими ледышками звеня,
я собственный давно истлевший прадед,
при жизни не дождавшийся меня.

Но в осени, смыкаясь величаво,
вдоль галереи бронзовых колец,
я занавес, конец того начала,
которым начинается конец.

Испанская партия

Ответный ход. Заученная спешка.
В густой тени скрываются поля.
Мой белый конь храпит над черной
пешкой,
ушами неприметно шевеля.

Ответный ход. И в темпе угорелом,
своей неуязвимостью сильна,
чужая пешка держит под обстрелом
ведического белого слона.

Идет размен. Фигуры на прицеле.
А за окном нахмурилась зима.
Там все большое, все — на самом деле:
река, деревья, люди и дома.

Таким фигурам и доска большая,
поля ее из суши и воды.
И все попеременно совершают
совсем необъяснимые ходы.

Толпятся, разлетаются упруго,
и временами отличить нельзя
коня от короля, врага от друга,
земли от неба, пешки от ферзя.

Все в передышке, в прямоте скольженья,
в простой необратимости ручья:
притворный бой, атака без движенья,
размен фигур и вечная ничья.

Полна душа невыполнимой мести,
и вид для постороннего такой,
как будто в дым упившийся гроссмейстер
колдует над покинутой доской.

Откинь без слова занавес рогожный,
смахни рубанком сучья и бугры.
Пора подумать — все не так уж сложно,
пора припомнить правила игры.

Ты сам за эти клеточки в ответе,
да будут наши помыслы тверды!
Покуда день, покуда свежий ветер,
покуда солнце шахматное светит,
и держит память нужные ходы.

* * *

Мороз разверзает уста.
Луна выползает кривляться.
Любимая, как я устал!
Я больше не в силах скрываться.
Куда мне бежать — не пойму.
Потрафило мамонту — вымер.
Я выбрал тебя потому,
Что ты не одобрила выбор.
Я пламени в сердце глядел.
Я стены царапал в потемках.
Нам Богом дается надел,
Который мы пашем поденно.
Но тот, кто утратил межу,
Ослаб в этом спорте жестоком,
Отчасти подобен моржу,
Что скалы дробит альпенштоком.
А ночь неуклюже нежна,
Под окнами топчется горбясь.
Любимая, как мне нужна
Твоя виноватая гордость!
Все под гору, под гору вновь
Мои кривобокие санки.
Одна в этой жизни любовь,
Да, видно, постриглась в русалки.
Заря громыгнула ключом,
Язык распростерла над сушей.
Послушай стихи ни о чем,
Как шепот поземки послушай!
Язык не послушный уму,
Бездумней постройки коралла.
Я выбрал тебя потому,
Что ты за меня выбирала.

* * *

Челюсти экстазом сведены.
Пялимся восторжённо и немо.
В этом небе пропасть синевы,
Жутко подозрительное небо!
Кажется, срываюсь и лечу,
Растворяюсь в солнечном покое.
Это небо мне не по плечу.
Господи, зачем оно такое?

Человек, не так уж ты хитер!
Никуда от вечности не деться.
Мой сосед, бывалый мушкетер,
Смотрит с изумленностью младенца.
Тошно мне под белым потолком,
Муторно последние полгода.
Неужели скажешь о таком
Запросто: «Хорошая погода»?

В наших душах вечная война,
Пьеса в ситуациях избитых.
Что нам эта синяя волна,
Радости торжественный избыток!
Кажется, рассудок у черты,
Синева в оплавленных зеницах.
Все стоим, не закрываем рты,
Глаз не отрываем от зенита:

Тишина безбрежна и свята,
Искренности требует в уплату:
Гибельна такая красота,
Не под силу смертному таланту.
Но колдую разводным ключом,
Но упрямо втискиваю в строки.
И стоит с улыбкой за плечом
Сам Господь, начальник этой стройки.

Эту высь в библейские года
Моисей увидел над Синаем.
Мы теперь не светим никогда,
Отраженным пламенем сияем.
Оттого печать моя остра.
Оттого на шаре нашем нищем

Мы лежим остывшим пепелищем,
Искрами великого костра.

* * *

Здесь вымокший воздух, здесь небо скупей,
Глаза, словно сердце, ранимы.
Где ласковый зной астурийских степей,
Простор арагонской равнины?
Припомни столетье, скажи мне число,
Я сбился дорогой со счета.
Нас промыслом вражьем сюда занесло,
Нам в кубки подсыпали что-то,
В такой стороне не прожить и моржу.
Храпит охромевшая кляча.
Что, холодно, Санчо? Я тоже дрожу,
Но это не повод для плача.

Заря не спускается с облачных гряд,
Земля источает заразу.
Десятые сутки назойливый град
Стучит по мамбринову тазу.
В тумане дрожит искореженный вяз,
Предчувствуя худшую пору.
Где тот, однорукий, что выпустил нас
Скитаться по мертвому полю?
Он спрятался в вечность, чахоточный трус,
Чужбина ему не помеха.
Бойшься, мой мальчик? Я тоже боюсь,
Но это не повод для смеха.

Нас изморозь бесит и рытвины злят;
На что я копьё свое поднял!
Остался на родине ласковый взгляд
И руки, желаннее полдня.
Не слышно за тучами пенья планет,
Покой у чужого порога.
Здесь нет великанов и карликов нет —
Убогая злая порода.
Здесь правит мозгами бесчувственный нуль,
Нули в нашей завтрашней смете.
Ты, кажется, плачешь? Я тоже всплакнул,
Но это не повод для смерти.

* * *

Просыпаюсь по первому знаку,
Доверяю любому лучу.
Осторожности больше не знаю,
Вдохновения сном не лечу.
Не лежит мое сердце к параду,
Опасеньем не гнется спина.
И люблю и терзаюсь взаправду,
Безысходность глотаю сполна.
Все в тебе, моя боль узловая.
Для тебя и роняю листья,
Чтобы реже меня узнавала,
Чтобы в выборе путалась ты.
Стал я суше и голосом резче,
Безалаберней в тысячу раз,
Чтобы глаз не сводила при встрече,
Не искала уклончивых фраз.
Ожиданье на кончике нерва,
Только взгляды скользят по плечу.
Подари мне мгновение неба —
Отреченьем тебе заплачу.

* * *

Не строй невинного цыпленка
Из перезрелого гуся,
Когда чуть теплится силенка,
Обиды горькие снося.
Судьба — особенная птица,
Надежда — выслеженный зверь.
Имеешь мужество напиться —
Имей терпение трезветь.

Планета поровну поката
Для крокодила и бобра,
Она симметрией богата.
Где зло — опора для добра.
Нас только полночь передвинет,
Сместив земную суету.
Один — на темной половине,
Когда другие — на свету.

Но даже вспарывая вену,
Глотая зернышко свинца,
Храни отчаянную веру
В возможность доброго конца.
Нам эта вера тем дороже,
Что, может статься, шар земной
Затормозит на полдороге,
Гремя разбитой шестерней.

* * *

Еще тебе, не видевшему света,
он лишь предвестьем сердце бередил,
но голос был: она родит поэта,
и эта пуля — для его груди!

Ты был рожден, как водится, в сорочке,
ты ел и спал и пробуждался вновь,
и понемногу отливалась в строчки
твоя еще не пролитая кровь.

Но вот замкнулся круг твоих скитаний,
проскрежетал несмазанный курок.
А ты живешь корою на платане,
уже сухой, но не опавшей в срок.

И пусть теперь в заботе нарочитой
ты теребишь умолкшее перо —
твой приговор подписан и зачитан,
ты опоздал, как с пьянки на метро.

Когда-то утром, злым и неумытым,
когда писать не поднялась рука,
ты прозевал возможность быть убитым
и, умирая, пережить века.

* * *

Я — фита в латинском наборе,
Меч Атиллы сквозь кожу лет.
Я — трава перекаати-море,
Выпей-ветер, запряги-свет.

Оберну суставы кожей,
Со зрачков нагар соскребу,
В средиземной ладони божьей
Сверю с подлинником судьбу.
Память талая переполнит,
И пойдут берега вразнос.
Разве озеро долго помнит
Поцелуи рыб и стрекоз?
Я не Лот спиною к Содому,
Что затылочной костью слеп.
Я — трава поверни-к-дому,
Вспомни-друга, преломи-хлеб.
Но слеза размывает берег,
Я кружу над чужой кормой —
Алеутская птица Беринг,
Позабывшая путь домой.

АЛЕКСАНДР ВОЛОВИК

Бездедушечный мастер

Бездедушечный мастер работает тонко и трезво.
Совершенства в безделке добиться всего тяжелей.
И бренчит в его ранце не маршальский титул «маэстро»,
а блокнот, метроном и палитра. И, кажется, дрель.

Бездедушечный мастер совсем не безделками занят.
Он работу свою для проверки выносит на свет.
Проверяет на глаз: не сверкнет ли восторга слезами?
Проверяет на слух: зазвенит, или, может быть, нет?

Он собой недоволен и ищет в работе изъяны:
то акцент переставит, то охры добавит в сурьму,
то бравурное forte заменит на робкое piano...
Вот бессмысленный труд! Он и нужен ему одному.

Но гармонию выверил замысла гибким лекалом,
из властителей мира лишь ей подчинен и не чужд,
он свободен смеяться и видеть великое малым,
и общественный скепсис для личных использовать нужд.

И когда он в отделке безделки достигнет предела,
завершив не разменный на зло и добро сувенир —
пусть останется черное черным и белое белым.
Что он, в сущности, миру, и что ему, в сущности, мир!

Он работу закончил. Дальнейшее, в общем, известно.
Отодвинут блокнот и уложен в футляр метроном.
И, палитру промыв скипидаром, вздыхает маэстро
и торопится к двери — пока не закрыт гастроном.

Музыка

И поет орган, что всему итог —
эта тьма и тлен, эта смерть и прах.
Но — «С добрым утром, Бах!» — говорит Бог.
«С добрым утром, Бог!» — говорит Бах.

А. Г а л и ч

Дело, кажется, швах, лопнет кожа в швах барабана,
До удавит валторну, органом взревет клавикорд,

и басовым ключом отомкнет багинеты охрана,
и маэстро рванет из оркестра и скроется, черт!

И сиятельный Бах развернет оскорбленные брови,
и смахнет незаметно на лацкан скупую бемоль,
и кровавый взорвется аккорд у сопрано в утробе...
Рухнет замертво мир, поражен глухотой, как бельмом.

И умрут контрапункты, навязшая в клавишах жвачка...
Изумрудом и охрой мазнет нас огня помело...
Мы летим под уклон, нас летально нуклон перепачкал,
и летает не клевый пришелец, а черт в НЛО.

Вот он реет над нами, флюидами праха пропитан,
мастер магии мрачной и злой виртуоз похорон.
Выстриг фрачные фалды, хвостом опрокинул пюпитр
и, летя, улюлюкает в переносной какофон!

Мы уплатим налог на молитвы и сладкие звуки:
дискжокей, гогоча, заколотит нам в лоб децибел.
Вивисекция лебеда — благо для гитик науки:
как сулил постулат — он не сдох, пока не досипел.

К пароксизму прогресса поспели смертельные споры.
С ними споры безумны: они уже тут, на губах.
В темноте вместо нас расцветают рябые узоры —
сглазил черный маэстро, и дело действительно швах.

Диалог, прерываемый стуком

- Ни дня без строчки — кто сказал?
- Портной.
- Ни дня без точки?
- Ясно, что точильщик.
- Ни дня без пачки?
- Может быть, курильщик?
- Нет, балерина.
- Как! А в выходной?..
 - Ни дня без вышки?
 - Мастер буровой?
 - Палач, дурак!.. Ни дня без почки?
 - Фито-

патолог, что ли?
— Нет!
Хирург из ЦИТО.
В мадере почки жарит он порой...

— Ни дня без качки?
— Нянька?
— Нет, матрос.
— А может, спец
по правовым наукам!..

(С т у к)

— Кто там стучится?
— Тоже мне — вопрос!
Стукач, конечно —
чтоб — ни дня без стука.

А и Б

Сказавший А сказать затеял Б.
Он рот раскрыл. Он воздухом запасася.
Сейчас он грянет. Скептики в толпе —
и те затихли. Миг один остался.

Как просто было А произносить!
Решился, и зажмурился, и — гаркнул!..
— Ну, не скажи. А вышло бы насмарку —
в какие дали мог бы угодить!

Но Б трудней! Еще раз: выдох, вдох,
губа губы вот-вот уже коснется,
и звук взрывной над миром понесется,
не слыханный в течение эпох...

Безумное, безудержное Б!
Бумажный бум! Бубенчик обихода!
Бей в барабан обещанной свободы!
Бушуй бесменно в будущей судьбе!..

Сказавший Б изменится в лице,
изобразив произнесенье звука.
Что ж будет дальше — В? а может, Ц?..
пока не ясно. Вот какая штука.

Памятник

Exegi monumentum...

Когда, локтем круша цивилизацию,
я насмерть вжат в автобус, в самый пик,
то чувствую, что ближе стал к Горацию,
точней, к тому, чего он там воздвиг.

Что ж мне — заobeliski, что ли, прятаться!
Для пантеона я созрел почти.
Вот мой проект: вишу под 30°,
в руке пятак и в воздухе очки.

Вокруг, как подобает, предстоящие —
скопленье сумок, туловищ и шей —
и выставка красивых, как по ящику,
отечественных в том числе вещей.

Глядел бы век — вздохнуть бы вот сподобиться...
Гораций! Вам бы жить при НТР!..
Гораздо те мудрей, кто вне автобуса,
владельцы «Мерседесов», например.

Как жаль — меня когда-то не заметили,
а то и мне бы в «Жигуле» — лафа!
Ведь я ж не хуже их, и междометием,
даст бог, не зарастет моя строфа!

Но мне бензином их не оскоромиться...
Вишу — не отоваренный «фирмой»,
и истекает чей-то фарш сукровицей
на монумент **нерукотворный** мой...

Пусть мудрецы вершат свои деяния,
мне не до них: и у меня — дела.
Да мне и изваянье — подаяние,
и уж подавно — не до барахла...

Но есть такие вещи, друг Горацио,
какие — ты, конечно, знаешь сам,
которые все снятся нам и снятся нам,
все снятся нам и снятся, мудрецам.

Кофейный аромат

В первые годы после отмены кофе
я иногда, по праздникам, нюхал банку
и вспоминал безразвратно прошедшую юность,
активизируя носомоторную память.

Но постепенно таял кофейный запах,
юность казалась чем дальше — более пресной,
более трезвой, легкой, как сновиденье,
и, наконец, безуханная, потерялась.

Все это шутка. Кофе не пил я сроду.
Банку стеклянную расколотили дети.
И никогда-никогда молодым я не был,
а с седой бородой рожден 50-летним.

Минор 2

Катастрофически быстро старею.
Одышка, отрыжка, боли.
интересы стремятся к нулю.

Безразлично: русские или евреи,
мегаполис или чистое поле.
Ничего не хочу и почти никого не люблю.

Неинтересно писать диссертацию.
Постоянно хочется есть или спать.
Был бы враг — все бы простил и врагу.

Черепушка оголилась почти что нацело.
Зубцами железными лязгает пасть.
Даже ритм стихотворный выдержать не могу.

Зрение тоже и музыкальный слух...
Я так и не выучил ноты!..
Запинается устная и печатная речь.

Еще считаю, но уже только до двух,
дальше одолевает дремота.

Пенсию! Пенсию бы и лечь.

Из жизни евреев

(фамилии)

Жил я тихо, никого не трогал,
но меня в смятение поверг
мрачный факт: Корнеев — это Коган.
А Исламбердыев — Мандельберг.
Я — хоть не похож на дебошира —
сионистский разгоню дурман:
Сидоров — по бабушке Шапиро,
а его борзая — доberman.
Разогнался — и не остановишь —
по асфальту склизкому Пегас:
Иванова — это Давидович,
А Петров — на самом деле — Кац!
Боже мой! В какие палестины
полетело все, что я люблю!
Оказался Блюмкиным Устинов,
стал Нечипоренкой — Розенблюм!..
Не могу смолчать, не похвалившись,
(как всегда, когда иду на рать!):
я узнал, что Кузькин — это Лифшиц,
в документах указавший мать.
Вот, кому меняться именами,
ибо — показать ее резон
всем, кто притворяется, что с нами,
а на деле — Зак и Либерзон!

Из жизни графоманов

Как графоман я посетил собрание
бюро по пропаганде графомании.
Мы обсуждали разные дела.
Пусть графоманы мы, но, тем не менее,
к нам Муза столь добра, что вдохновение
какое-никакое нам дала.

Мы говорили: фабула, сравнение,
Отечество, катарсис, прихоть гения
(как модельеры — крой, шевьот, пошив...),
в единстве наша сила и в сознании
того, что все в советской графомании —
от книг и до интриг — как у больших.

Был разговор и о делах издательских,
о тиражах мизерных издевательских,
и что давно пора на хозрасчет.
Что надо нам иметь побольше смелости,
и что бороться надо против серости,
и что еще чуть-чуть — и все пойдет!

Не бюрократы мы, зря слов не тратили,
а оказались в русле демократии,
и — более, чем кто-либо — равны,
от тайного голосованья гордые,
мы в высшие свои избрали органы
ведущих графоманов всей страны.

И пусть народ, не смыслящий словесности,
сулит нам прозябание в безвестности —
нам наплевать! Мы пишем, и — кранты!
И, пользуясь наметившейся гласностью,
я заявляю, что горжусь причастностью
к процессу производства красоты!

Некстатн о птнчкх

На время забыть об общем, частности тронуть.
Залаять, увидев ворону в пушистом небе,
и постараться
в предправедном гневе.
именно в ней увидеть врага.

И не глядеть в ту сторону,
где с когтистого трона
стаи ворон и воронов,
так же, как эту ворону,
внушают небу:
Кашей, в облаках упрятан.
и Баба-Яга.

Двугорбым горит Араратом ревность моя к-пернатым.
Черна и бескрыла зависть — ведь мне не достать,
не доставить
на борт Ковчега
малой жижицы ила, почвы грядущих кочевий.
И не сконструировать в бункере кивера
мирное мне гнездо.

От начала тетрадной страницы
и до
голубых гильотин в мастерской переплетной
я все пел бы и пел, и друзьям перелетным
было б слаще мне сниться
среди синевы.

Но сказано: «Жука клевала птица».
«Хорек пил мозг из птичьей головы»...

Но птица Рух, таскавшая птенцам
заместо мух — из них воспитанных слонов...
Но Буревестник,
небесам
кричащий о примате катастроф!..

Меня остановили эти «но»
и предписали частности забыть,
об общем вспоминая.

И вот: от черных крыл темно,
и морщит небо и знобит,
Рябит в глазах все та же злая стая,
в которой тысячи голов.

И Баба страшная Ягая
форсирует своих орлов.

Мнимый кризис детективного жанра

В архив сдает дела милейший доктор Ватсон:
Хоть обеспечен тыл, но впереди темно.
Задача ремесла — подольше не сдаваться
пред веком золотым, стучащимся в окно.

По камерам грызут решетки мафиози,
ножом не саданут и не возьмут казны.
Без вора гибнет суд, настало время прозы.
В кутузку б Сатану! Да нету Сатаны.

Юстиция строга, но новых дел не шить ей,
пока, осилив страх желаньем перемен,
не пустится в бега кошмарный потрошитель,
гниющий в рудниках вблизи поселка N.

Пусть только удерет — и долго не провьется
веревочка!.. А то — совсем неумоготу
бездействовать...

Так вот, о чем теперь печется
печальный Пинкертон на боевом посту!

Себе избравший ту из тысячи профессий,
где лупа и наган — орудие труда,
он курит в темноту, он знает: город тесен,
преступная нога оставит след всегда!

И следовательно вновь гремит бревном в камине,
и расцветают вновь секреты ремесла.
Как прежде, век суров, в нем злата нет в помине,
не выдохлось вино, и — предстоят дела.

Он надевает плащ, привычно прячет «пушку»,
бесшумно — шасть! — за дверь: искать и находить.
Творящий зло, восплачь, ибо — ты взят на мушку,

осален, и теперь —
тебе
пора
водить.

Душа

У менестреля и министра, у атташе и алкаша
звенит, как нимб и как монисто,
необъяснимая душа.

Она летает и бушует, подобна плазме и огню,
и ощущает душу жулик,
и партгрупорг,
и инженерю.

Крестьянин,
в сумрачном навозе копаясь кончиками вил...
И за бойцом летит в обозе
душа на паре хрупких крыл.

Интеллигент страны Советов
и соль земли — рабочий класс,
ужель идеализма ветошь — душа — гнездится
тоже в вас??.

Ужели гид нематериальный
вас вводит в радость и тоску?
То — как джигит —
в сальто-мортале коня меняет на скаку?..

Библейский сюжет

Я, вроде, совсем здоров и кормлен, как на убой,
но семьдесят тощих коров сон будоражит мой.
Семьдесят тощих коров, одна костлявей другой,
под собственный жалкий рев проходят передо мной.

Им тверже камней корма, пустыня — уют и приют.
За ними горы дерьма — пейзаж создают.

А далеко вдали, среди заливных лугов,
за круглотой земли — стадо тучных коров.
Млеко их чистый мед. Кличка им — легион.

Что ж ни одна нейдет в мой повседневный сон?..
Одних лишь тощих коров я вижу перед собой,
хоть совершенно здоров и выкормлен — на убой.

Нога человека

Уже ни белого света, ни белых пятен.
Лицо и тело Вселенной — сизый синяк.
Ария света спета, и всем понятен
всякий его закоулок, вздох, знак.

Гадко пишит козырных позывных утенков.
Начинается с виселиц, как театр, Прогресс.
Трели, дыханье —
весь реквизит потемок —
реквизированы заревами АЭС.
Марсиане ловят прогноз погоды:
Нерушим и свободен стихий союз.

А там —
по известным дорожкам —
паучки-лупоходы...
стукачи-скороходы...
говнодавы рюс.

И вот,
своего не достойная века,
мысль исподняя в стоперстой кишке живет.
Такая:

Жить все-таки можно,
Пока нога человека
Еще не ступала
На мой живот.

Млат

...Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

А. П.

Млат колотит вдребезги стекло,
горный и искусственный кристалл.
Радужное время истекло.
Острый век осколочный настал.

Млат ведет веселую игру.
Что ему — осколков водопад!
Млат — мастак не только по стеклу.
Млат кует другой такой же млат:

О моя прозрачная страна!
Зеркала, приборы, витражи...
Пред тобой молчания стена.
Прозвени! Хоть что-нибудь скажи.

Цирк

Пора, пожалуй, в цирк, в программе наше время.
Приобретен билет по блату и в кредит.
И вот — угар фанфар клокочет по арене,
гремит мотоциклет и из вольер смердит.

Еще летит манеж по замкнутой спирали,
сливаясь сам с собой и взлет в зенит суля,
еще медведи жмут на нужные педали
и празднично ревут, балдея у руля...

Но вот — уж не смешно от липкой оплеухи,
осточертел атлет с гирляндой ватных гирь,
и в ложу царскую уже слетелись мухи —
там, репетируя, кровоточит упырь...

Коня! Скорей коня! Полцирка — за Пегаса!
Сперва — хоть пару слов, а там — да будет свет!
Притихнет бенуар, и зрительская масса
шталмейстера сметет и сменит худсовет.

Займут свои места патриции трапеций,
распределит жонглер в пространстве семь шаров,
из ложи сгинет тот, оркестры грянут скерцо...
— Виват, прекрасный цирк в прекрасном из миров!..

Но как коварен маг! придурковат коверный!
Как публика мудра, где следует — смеясь!..
А мы — под куполом. В дверях торчит дозорный.
Он вырубает свет, и — кончен наш сеанс.

ТИМУР КИБИРОВ

Буря

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови!

В. Соловьев

Выхожу я, выхожу я,
песню завожу я!
Выхожу я в степь белую,
тундру снеговую!

Степь да степь лежит, не дышит,
ничего не слышит.
Никого здесь не колышет,
что со мною вышло...

Здравствуй, здравствуй, дорогая,
здравствуй, дорогая!
Ты за что меня пугаешь,
мать земля сырая?

Ты за что меня шугаешь?
Я не понимаю.
Я не знаю, я зываю,
вою-завываю!

Я не знаю, не врубаюсь,
вою-огрызаюсь.
Ты чего меня стебаешь,
мать моя такая?

И взметнулись злые ветры.
Вихри поднялись.
И на много километров
стоны разнеслись!

Лихо, лихо выходило
из сырой могилы
и руками разводило
над простором милым.

Лихо, лихо голосило:
Что же ты, дурила?
Я ж тебя, сынок, вскормило
из последней силы!

Я ль тебе не мать родная,
нежная, белая?
Что ж ты воешь, дрянь такая,
над родимым краем?

И взметнулось мое Лихо
по-над степью тихой,
мглою небо мое кроет,
сатаную воет!

Неустанно возрастает,
все в себя вбирает!
Воет-кроет-завывает,
снегом посыпает.

Ой, пурга моя мамаша,
ледяная каша,
ледовитая параша
рукавами машет.

Ничего уже не видно!
Ничего не стыдно!
Лихо злое заплясало
вкруг меня, нахала!

Бесконечны, безобразны
вьются бесы разны!
Кто они — еще не ясно.
Только страшно, страшно!..

Лихо, лихо, Чивилихин,
стонет Чивилихин...
Ой, простите — Талалихин,
а не Чивилихин!

Никакой не Талалихин!
Сам ты Талалихин!
Сам ты, сам ты стонешь тихо...
Лихо мое, лихо!

Сам я, сам я Талалихин,
Сам я Чивилихин...
Тише, тише! Ну-ка тихо!!!
Ой, какое Лихо!

Да какое уж тут тихо!
Злобная шумиха!
Все вокруг сплошное Лихо
и неразбериха...

Выходил профессор Зорин,
мрачен и упорен,
голову мою морочил,
застил мои очи.

Страшных призраков привел он,
неподкупный Зорин.
Лихо, лихо, горе, горе
Там, за синим морем!

Сто примеров приводил он,
СОИ наводил он,
Воротилы, заправилы,
вражеская сила!

СОИ, СОИ и душманы,
злые атаманы!
Наркоманы, хулиганы,
бундесвер поганый!

Ардис тянет руки-крюки,
вот какая злоюка!
Имка-Пресс хохочет злобно
из страны загробной!

Би-Би-Си, соси, паскуда,
не пугай, иуда!
Лихо, лихо! Худо, худо!
Еще хуже будет.

Где ж буранный полустанок?
Обманул Айтматов!
Воют духи из землянок,
кроют небо матом.

Кроют небо, кроют землю.
Я со страхом внемлю.
Вот тебе и Чивилихин!
Лихо мое, лихо.

Мчатся тучи, вьются тучи.
Эйдельман могучий
мчится на коне скакучем.
Нé глядеть бы лучше!

Мчится он без крайней плоти
по степи бескрайней.
Тут Астафьев выбегает
и в него стреляет.

Эйдельман и сам стреляет,
точно попадает!
И Астафьев попадает,
метко поражает!

Вновь орудья заряжают
и опять стреляют!..
Бесы воют, черти лают,
все меня пугает!

Госприемка выходила,
гласность приводила,
выла, выла, голосила...
Редкая мудила!

Агропром над степью веет,
снег по снегу сеет!
Веют тезисы, идеи,
страшно молодея!

Веют, воют, сам я вою,
сам я небо крою.
Ничего в упор не вижу.
Тише, ну-ка тише!!..

Но глядите — что за диво?
Что ж это за диво?!
Величаво, горделиво,
до чего красиво!

И лицо-ее родное
доброе такое!
Бедра — не обнять рукою,
ну и все такое!

Это Фея? Это Флора!
Это — Герцогиня!
Это — Флор Герцеговина,
древняя богиня!

Под туникой кумачовой
груди полны млека,
словно у Любовь Орловой,
в ясном взоре нега!

И раздвинула богиня
мощную вагину,
родила Герцеговина
дорогого сына.

Симпатичный, симпатичный!
Вот уж симпатичный!
Кто ж такой фотогеничный?
Я не знаю лично.

Это ж кворум! Это кворум!
Это — полный кворум!
Это — пленум, это — форум,
мирный мораторум!

Вот идет он сквозь ненастье.
Здрасьте, Ваше счастье!
Упасите от напасти,
я из Вашей части!

Блещет хромовую кожей,
форменной одежей.
И, сумнящаяся ничтоже,
хлоп меня по роже!

Жесточайшим, жесточайшим
образом жутчайшим
дурака меня пинает,
а за что — не знает.

Ой, ты что же нарушаешь
ленинские нормы?
Почему не заполняешь
протокол по форме?

Волк-волчище, волк позорный,
чего тебе, волче?
Слух упорный, срок повторный,
воют, воют горны!

Воют горны, воют ветры,
свищут километры,
беды, деды да победы,
горькие комбеды!

И рычит, урчит баланда,
и звучит команда,
коменданты да сержанты,
бьют и бьют куранты!

Вьюга, вьюга, вот так вьюга!
Не видать друг друга!
И идут, идут Двенадцать
с Катькой разбираться!

Вьюга, вьюга, злоба, злоба,
злоба да стыдоба.
Вою, ною, голосую,
вею и воюю...

Но откуда ни возьмися —
зайка объявился!
Бедный маленький пушочек,
глупости комочек!

Глупый маленький зайчонок
плачет, как ребенок.
Заплутал во тьме кромешной.
Ну иди, сердечный!

Забирайся под тулупчик,
Дурачок-голубчик.
На груди моей укройся,
спрячься, успокойся!..

Только Сила неживая,
страшная, белая,
пуще прежнего взъярилась,
злостью подавилась!

И шипит мне в ухо Лихо,
Хлещет в очи вихорь:
подобру отдай косога
зайца молодого!!

Оборву тебе я яйца,
обломаю пальцы,
если не отдашь мне зайца,
снежного скитальца!

— Отрывай, падлюка, яйца,
поломай мне пальцы!
Не отдам тебе я зайца,
нежного страдальца!

Тут как гаркнет вражья сила!
Как заголосила!
Налетела, повалила,
била меня, била!

Била, била, колотила,
воем оглушила,
в чистом поле положила
в снежную могилу.

Била-била, выла-выла,
да не тут-то было!
Ничего не получила,
мать моя могила!

Вот лежу я бездыханный.
А буран стихает.
Из-за пазухи зайчишка
теплый выползает.

Ты скачи-скачи, зайчишка,
жми без передышки,
передай-рыдай поклоны
женке незаконной!

Обручальное колечко
брось ей на крылечко.
Ну, прощай, мое сердечко,
гибель недалечко.

Вот лежу я, замерзаю.
Ничего не чаю.
Я не вою, не рыдаю,
свой капец встречаю.

Я встречаю-чаю-аю.
А кого — не знаю.
Никого уже не знаю —
аю-засыпаю.

Головою-ою-вою
во сугробы-гробы
с непорочно женою,
смертью молодою.

Замерзаю-заю-аю
замер-замерзаю,
веки белые смыкаю-
аю-засыпаю,

засыпаю-паю-аю,
баю-баю-яю,
белым паром вею-аю,
в небо улетаю,

в небо улетаю...

Снится мне — вечерний звон,
небеса родные.
Тоны-звоны, теплый сон,
избы расписные.

Золотятся купола,
полны ямы силоса.
Тара-тара-трактора
с поля возвратилися.

Ходит, ходит белый конь,
розовый от зорьки,

ходит сон мой угомой
От Оки до Волги.

Ходят девки над рекой,
сисечки-пиписечки.
Машут с берега рукой
Глебушка с Борисочкой.

И идет, идет весна
улицей Заречною!
На скамейке у окна
юность наша вечная!

Чиста водочка — динь-динь —
Дай Бог, не последняя!
У крыльца растет жасмин
и ромашка бедная.

И черемуха-сирень,
Люба черноокая,
трень да брень через плетень,
милая, далекая!

Льется, льется болеро,
полонез Огинского,
и мужик с базара прет
Гоголя, Белинского.

Матушка возьмет ведро,
принесет водичечки.
Светит в избах ГОЭЛРО,
светит Любы личико.

И гудит ночной комбайн
во широком поле,
Спи, дурашка, засыпай,
завтра снова в школу.

С неба звездочка глядит
прямо в глазки сонные,
и трепещет, и манит
в стеклышко оконное.

Ах, гори, гори, звезда,
звездочка приветная!
У меня ли на устах
песенка заветная!

У кота ли, у кота
мягкая подушечка,
одеяльце-красота,
бархатные ушечки!

У меня ли, у меня
вот какая спаленка!
На зиму стоят в сенях
саночки да валенки...

Ходит Ленин во лужах.
А печник не лается.
Пальцем ласково грозя,
Ленин приближается.

Ленин дедушка рукой
гладит по головке.
— Ишь вы гаденький какой,
да какой неловкий!

Что ж вы, батенька? Нельзя!
Не годится, батенька!
Ну-ка вытрите глаза,
носик аккуратненько!

Ленин дедушка меня
садит на коленочки,
не ругая, не виня
и не ставя к стеночке.

Ленин, дедушка родной!
Ленинчик! Дедулечка!
Гладит ласковой рукой,
кормит чаем с булочкой.

Деда, дедушка родной,
лысенький, усатый...
Разве Ленин это? Стой!
У калитки сада

это ж дедушка Борис,
настоящий деда!
Ну взглядишь же, ну проснись!
И сомнений нету!

Это сад наш, это сад,
проданный кому-то!
Дедушка-покойник рад
в солнечное утро

в шляпе из соломы старой,
в галифе, в сандалях
с тяткою стоять на грядке
во саду весеннем.

Вот и я. Конечно, я!
Хоть поверить трудно.
В тубетейке у крыльца
с зайцем деревянным.

На колесах, с барабаном
заяц одноухий...
То ли май, то ли июль.
Припекает солнце.

Ничего пока что нету —
ни плодов, ни ягод.
Только щавель молодой.
Только светит солнце.

Только виноградный лист
молодой и кислый.
Только зелень, только синь.
Ссадина на локте.

А потом пойдут — крыжовник,
яблоки зеленые,
и оскому я набью
черною смородиной.

Всей семьей придем мы в сад
к домику фанерному
и, шампурами звеня,
сядем под черешнею.

И малиновой настойки
мне дадут глоточек,
а потом еще украдкой
я глотну три раза.

И запомню этот вкус,
этот цвет навеки,
этот сад, фанеру эту,
птицу на черешне.

Зелень-зелень, зелень-синь,
воскрешенный дедушка.
Сон не сон и жизнь не жизнь,
просто пробуждение.

ХУДОЖНИКУ СЕМЕНУ ФАЙБИСОВИЧУ

В общем-то нам ничего и не надо.
Все нам забава и все нам отрада.
В общем-то нам ничего и не надо —
только б в пельменной на липком столе
солнце горело и чистая радость
пела-играла в глазном хрустале,
пела-играла
и запоминала
солнце на липком соседнем столе.

В укусной жижице, в мутной водице,
в юшке пельменной, в стакане твоём
все отражается, все золотится...
Ах, эти лица... А там, за стеклом,
лица движется, дышит столица.
Ах, эти лица,
ах, эти лица,
кроличьи шапки, петлицы с гербом.

Солнце февральское, злая кассирша,
для фортепьяно с оркестром концерт
из репродуктора. Длинный и рыжий
ищет свободного места студент.
Как нерешительно он застывает
с синим подносом и щурит глаза.
Вот его толстая тетка толкает.

Вот он компот на нее проливает.
Солнце сияет. Моцарт играет.
Чистая радость, золотая слеза.
Счастычко наше, коза-дереза.

Грязная бабушка грязною тряпкой
столлик протерла. Давай, допивай.
Ну и смешная у Семушки шапка!
Что прицепился ты? Шапка как шапка.
Шапка хорошая, теплая шапка...
Улица движется, дышит трамвай.

В воздухе блеск от мороза и пара,
иней красивый на урне лежит.
у Гастронома картонная тара.
Женщина на остановке бурчит.
Что-то в лице ее, что-то во взгляде,
в резких морщинках и в алой помаде,
в сумке зеленой, в седеющих прядях
жуткое есть. Остановка молчит.
Только одна молодежная пара
давится смехом и солнечным паром.
Левка глазеет. Трамвай дребезжит.

Как все забавно и фотогенично —
зябкий узбек, прыщеватый курсант,
мент в полушубке вполне симпатичный,
жест полосатый, румянец клубничный,
белые краги, свисток энергичный.
Славный морозец, товарищ сержант!
Как все забавно и как все типично!
Слишком типично. Почти символично.
Профиль на мемориальной доске
важен. И с профилем аналогичным
мимо старуха бредет астматично
с жирной собакою на поводке.

Как все забавно и обыкновенно.
Всюду Москва приглашает гостей.
Всюду реклама украсила стены:
фильм «Покаянье» и Малая сцена,
рядом фольклорный ансамбль «Берендей»
под управлением С. С. Педерсена...
В общем-то нам, говоря откровенно,

этого хватит вполне. Постепенно
мы привыкаем к Отчизне своей.

Сколько открытий нам чудных готовит
полдень февральский. Трамвай, например.
Черные кроны и свет светофора.
Девушка с чашкой в окошке конторы.
С ранцем раскрытым скользит пионер
в шапке солдатской, слегка косоглазый.
Из разговора случайная фраза.
Спинка минтая в отделе заказов.
С тортом «Москвичка» морской офицер...

А стройплощадка субботняя дремлет.
Битый кирпич, стекловата, гудрон.
И шлакоблоки. И бледный гандон
рядом с бытовкой. И в мерзлую землю
с осени вбитый заржавленный лом.
Кабель, плакаты... С колоннами дом.

Дом офицеров. Паркета блистанье
и отдаленные звуки баяна.
Там репетируют танец «Свиданье».
Стенды суровые смотрят со стен.
Буковки белые из пенопласта.
Дядюшка Сэм с сионистом зубастым.
Политбюро со следами замен.

А электрички калининской тамбур
с темной пустою бутылкой в углу,
с теткой и с мастером спорта по самбо,
с солнцем, садящимся в красную мглу,
в чистом кружочке, продышанном мною.
Холодно, холодно. Небо родное.
Небо какое-то, Сема, такое,
словно бы в сердце зашили иглу,
как алкашу зашивают торпеду,
чтобы всегда она мучила нас,
чтоб в мешанине родимого бреда
видел гармонию глаз-ватерпас,
чтобы от этого бедного света
злился, слезился бы глаз наш алмаз.

Кухня в Коньково. Уж вечер сгустился.
Свет не зажгли мы, и стынет закат.
Как он у Лены в очках отразился!
В стеклышке каждым — окно и закат.
Мой силуэт с огоньком сигареты.
Небо такого лимонного цвета.
Кто это? Видимо, голуби это
мимо подъемного крана летят.

А на Введенском на кладбище тихо.
Снег на крестах и на звездах лежит.
Тени ложатся. Ворчит сторожиха...
А на Казанском вокзале чувику
дембель стройбатский напрасно кадрит.
Он про Афган заливает ей тихо.
Девка щекастая хмуρο молчит.

Запах доносится из туалета.
Рядом цыганки жуют крем-брюле.
Полный мужчина, прилично одетый,
в «Правде» читает о встрече в Кремле.
Как нам привыкнуть к родимой земле?..

Нет нам прощенья. И нет «Поморина».
Видишь, Марлены стоят, Октябрины
плотной толпой у газетной витрины
и о тридцатых читают годах.
Блещут золотыми зубами грузины.
Мамы в Калугу везут апельсины.
Чуть ли не добела выгорел флаг
в дальнем Кабуле. И в пьяных слезах
лезет к прилавку щербатый мужчина.

И никуда нам, приятель, не деться.
Обречены мы на вечное детство,
на золотушное вечное детство!
Как обаятельны — мямлит поэт —
все наши глупости, даже злодейства...
Как обаятелен душка-поэт!
Зря только Пушкина выбрал он фоном!
Лучше бы Берию, лучше бы зону,
Брежнева в Хельсинки, вора в законе!
Вот на таком-то вот, лапушка, фоне
мы обаятельны 70 лет!

Бьют шизофреника олигофрены,
врут шизофреники олигофрену—
вот она, формула нашей бесценной
Родины, нашей особенной стати!
Зря шевелишь ты мозгами, приятель,
зря улыбаешься так откровенно!

Слышишь ли, Семушка, кошка несется
прямо из детства, и банки гремят!
Как скипидар под хвостом ее жжется,
как хулиганы вдогонку свистят!
Крик ее, смешанный с пением Отса,
уши мои малодушно хранят.
И толстогубая рожа сержанта,
давшего мне добродушно пинка,
«Критика чистого разума» Канта
в тумбочке бедного Маращука,
и полутемной каптерки тоска,
политзанятий века и века,
толстая жопа жены лейтенанта,
злоба трусливая бьется в висках...
В общем-то нам ничего и не надо...

Мент белобрысый мой паспорт листает.
Смотрит в глаза, а потом отпускает.
Все по-хорошему. Зла не хватает.
Холодно, холодно. И на земле
в грязном бушлате валяется кто-то.
Пьяный, наверное. Нынче суббота.
Пьяный, конечно. А люди с работы.
Холодно людям в неоновой мгле.
Мертвый ли, пьяный лежит на земле.

У отсидевшего срок свой еврея
шрамик от губ протянулся к скуле.
Тонкая шея,
тонкая шея,
там, под кашне, моя тонкая шея.
Как я родился в таком феврале?

Как же родился я и умудрился,
как я колбаской по Спасской скатился
мертвым ли, пьяным лежать на земле?
Видно, умом не понять нам Отчизну.

Верить в нее и подавно нельзя.
Безукоризненно страшные жизни
лезут в глаза, открывают глаза!
Эй, суходрочка барачная, брызни!
Лейся над цинком, гражданская тризна!
Счастычко наше, коза-дереза,
вша-ВПШа да кирза-бирюза,
и ни шиша, ни гроша, ни аза
в зверосовхозе «Заря коммунизма»...

Вот она, жизнь! Так зачем же, зачем же?
Слушай, зачем же, ты можешь сказать?
Где-то под Пензой, да хоть и на Темзе,
где бы то ни было — только зачем же?
Здрате пожалуйста! Что ж тут терять?

Вот она, вот. Ну и что ж тут такого?
Что так цепляет? Ну вот же, гляди!
Вот, полюбуйся же! Снова—здорово!
Наше вам с кисточной! Честное слово,
черта какого же, хрена какого
ищем мы, Сема,
да свищем мы, Сема?
Что же обрящем мы, сам посуди?

Что ж мы бессонные зенки тарашим
в окна хрущевок, в февральскую муть,
что же склоняемся мы над лежащим
мертвым ли, пьяным, под снегом летящим,
чтобы в глаза роковые взглянуть.
Этак мы, Сема, такое обрящем...
Лучше б укрыться. Лучше б заснуть.

Лучше бы нам с головою укрыться.
лучше бы чаю с вареньем напиться,
лучше бы вовремя, Семушка, смыться...
Ах, эти лица... В трамвае ночном
татуированный дед матерится.
Спит пэтэушник. Горит гастроном.
Холодно, холодно. Бродит милиция.

Вот она, жизнь. Так зачем же, зачем же?
Слушай, зачем же, ты можешь сказать,
в цинковой ванночке легкую пемзой

голый пацан, ну подумай, зачем же,
все продолжает играть да плескаться?
На солнцепеке
далеко-далеко...
Это прикажете как понимать?

Это ступни погружаются снова
в теплую, теплую, мягкую пыль...
Что же ты шмыгаешь, рева-корова?
Что ж ты об этом забыть позабыл?
Что ж тут такого?
Ни капли такого.
Небыль какая-то, теплая гиль.
Небо и боль обращаются в дворик
в маленькой, солнечной АССР,
в крыш черепицу, в штакетник забора,
в тучный тутовник, невкусный теперь,
в черный тутовник,
зеленый крыжовник,
с марлей от мух растворенную дверь.

Это подброшенный мяч сине-красный
прямо на клумбу соседей упал,
это в китайской пижаме прекрасной
муж тети Таси на нас накричал.

Это сортир деревянный просвечен
солнцем июльским, и мухи жужжат.
Это в беседке фанерной под вечер
шепотом страшным рассказы звучат.

Это для папы рисунки в конверте,
пьяненький дядя Сережа сосед,
недостижимый до смерти, до смерти,
недостижимый, желанный до смерти
Сашки Хвальковского велосипед...

Вот она, вот. Никуда тут не деться.
Будешь, как миленький, это любить!
Будешь, как проклятый, в это глядеться,
будешь стараться согреть и согреться,
луч этот бедный поймать, сохранить!

Щелкни ж на память мне Родину эту,
всю безответную эту любовь,
музыку, музыку, музыку эту,
Зыкину эту в окошке любом!
Бестолочь, сволочь, величие это:
Ленин в разливе,
Гагарин в ракете,
Айзенберг в очереди за вином!

Жалость, и малость, и ненависть эту:
елки скелет во дворе проходном,
к международному дню стенгазету,
памятник павшим с рукою воздетой,
утренний луч над помойным ведром,
серый каракуль отцовской папахи,
дядин портрет в бескозырке лихой,
в старой шкатулке бумажки Госстраха
и облигации, ставшие прахом,
чайник вахтерши, туман над рекой.

В общем-то нам ничего и не надо.
В общем-то нам ничего и не надо!
В общем-то нам ничего и не надо —
только бы, Господи, запечатлеть
свет этот мертвенный над автострадой,
куст бузины за оградой детсада,
трех алкашей над речною прохладой,
белый бюсгальтер, губную помаду
и победить таким образом Смерть!

НИКОЛАЙ ГОЛЬ

Ничего страшного

Ехал я вчера в автобусе
до канала Грибоедова,
думая, что чувство робости
доконало
Грибоедова.
Не спасли его ни должности,
ни мороженое к третьему,
да и не было возможности
ежечасно не робеть ему:
сколько видел он мучительных
гомерических кошмаров
в фокусе увеличительных
дальнозорких окуляров!
Под очками аккуратными
то, что все считали нормою,
обрастало необъятными,
неестественными формами.
Как не струсить, если с топотом,
пиршествуя по Лукуллу,
словно слон с гигантским хоботом,
муха бродит по лукуму!
Жизнь порой, как боль недужная,
очень плохо переносится,
и очки, сверкая дужками,
покатились с переносицы.
Словно кто глаза откупорил,
и явились в них прохожие
не вампирами, не трупами
с перекошенными рожками,
не уродцами с ухмылками
и не крысами подпольными,
а людьми простыми, милыми —
правда, чем-то недовольными.
Было тело наземь брошено
на расправу рукопашную,
но шепнули губы:
«Боже мой,

ничего такого страшного!»
Звуки этих слов неведомых
хоть дошли до слуха ханского,
до сих пор не переведены
за незнанием славянского.

66-й Сонет

Во-первых — пел, а во вторых — утих,
а в третьих—грусть, в-четвертых—все не ново,
а в-пятых — нет сонета, а в-шестых —
нет ничего в нем шестьдесят шестого.

Одни слова. Ни сердцу, ни уму,
зато друг к другу ставятся проворно,
а мыслей — чуть. Как видно, потому
словам так тесно, мыслям так просторно.

Ужин

Свою душу золотую
на досуге залатаю,
променяю дорогую,
а дешевую — куплю...
Видишь: в небе тихо тая,
меркнет солнышко спитое,
плачет солнце цвета чая,
капли в лужу: плюх-плюх-плюх.

Дорогое-дорогое!

Дорогая-дорогая!

Дорогие-дорогие!

Догорает ясный день.

Видишь: в море голубое
входит женщина нагая...

Нет, не вижу — невралгия,
почки, ишиас, мигрень.

То, что было, — позабыла,
то, что будет, — позабудет,
то, что есть, — того не надо,
много лишнего зато.

Вот волною окатило

облаженную наяду,
так что вздрогнул черный пудель
у нее под животом.

Так и надо ей, поганке!
Так и надо ей, лисичке!
Так и надо мне, масленку —
отвернулся бы, дурак!
Зажигаю печку спичкой
(разогреть тушенку в банке),
погружаю нож в масленку...
Лучше этак, чем никак.

Ворона

Зачем она черна в конце концов?
Зачем глупа?
Какого черта ради
она сидит весь месяц в Ленинграде
и смотрит мне провидчески в лицо?

Сидела бы в лесочке, на суку.
Там сестры-птички,
там стволы и кроны,
там голос звонче!
Но моя ворона
сто раз прокаркала...

Кукушечка, ку-ку!

Сокол

Живу одиноко,
знакомых не знаю.
Зачем я не сокол,
зачем не летаю?

Промчалась вдоль окон
веселая стая.
Зачем я не сокол?
Зачем не летаю?!

Далеко, далеко
до милого края.
Зачем я не сокол!
Зачем не летаю!

Но бьется, как колокол,
песня иная:
«Я — сокол! Я — сокол!
хочу и летаю!»

Страдалец соколиный
по сетке стальной
ударил ногой,
вскормленной на воле.

* * *

Не ведаю, не ведаю, не ве-
даю в душе спокойствия и воли.
Какая нынче буря на Неве!
На Марсовом трепещут флаги поле
(инверсия) у вечного огня.
Отсутствие же воли и покоя
доказано задолго до меня
людьми весьма значительными, кои
не ведали ни этого, ни той
(анжембеман). Я полон пустотой,
в бутылки полной влаги нет веселой.
Огонь увечный, ты чреват золой
и дымом (каламбур). Прекрасной школой
стиха себе обязан, а тебе
обязан я прекрасными стихами.
Не думай о судьбе и о гульбе,
покоя нет и воли нет, но с нами
осталось счастье (с нами — это сдвиг).
Я ничего пугаться не привык
и отдаюсь всецело пестрой гамме
страстей и чувств, не требуя в ответ
страстей и чувств. Душа окаменела.
Какая нынче буря! То есть нет —
покой и воля, буря отшумела.

НОМО

Если дождик реже, то
в духоте сидеть негоже.
Наше небо — решето
и земля дырява тоже.

То, что влито в решето,
выливается наружу.
На моих плечах — пальто,
под моей ногою — лужа.

Если что-то решено,
переигрывать неловко.
Что такое решето?
— Сотня дырок на веревке!

Где подружки?
Где друзья?
Пустота кругом какая!
Сотня дырок — это я,
лишь веревки не хватает.

Хоть бы чей услышать шаг!
Хоть бы взгляд увидеть хмурый!
Стало как-то мне не так
от дурного каламбура.

Дождик, дождик,
перестань!
Где же, где же
божья милость?
Это что еще за дрянь
в этой луже отразилась?
Это туча?
Или снег?
Или что еще похуже?

— Это просто человек:
десять пальцев, нос и уши.

* * *

Вижу в дали предзакатной
неба жирного кусок.
Пряник лунный,
пряник мятный,
нашей детке на зубок.

Скачет, скачет Всадник Медный
тяжко-звонко за луной.
Храброват был Ваня бедный
раз осеннею порой.

Храброват был Ваня бедный,
да попался на обман.
Грошик лунный,
грошик бедный
туча спрятала в карман.

Февраль

Еще не час, еще не день
до окончания пробега,
еще нечаянная тень,
пробившаяся из-под снега,
не называется:
цветок;
еще иные знаем вехи:
окаменевшие орехи
лосей, а вовсе не цветок.

Пока не думаем о том,
чтоб лезть в оттаявшую воду,
мороз по кличке Воевода
обходит мерзлую природу,
как дом обходит управдом.

Он, притаившись за углом,
напялив на глаза ледышки,
заметит prodыхи в окне
и всем расскажет понаслышке
смешные байки о весне.
Не верьте —
он правдив не слишком.

Но он творит свои дела,
хоть с виду сумрачен и грозен.
Он бы и сам хотел тепла,
ан вдруг возьмет —
и заморозит.
Он сам собой не может жить,
не может вылезти из кожи
февральской стужи, правда, может
в мою чернильницу налить
чернил. Достать февраль из папки.

* * *

Другу руку крепко жму.
Не обижу никого я.
Кто-то брату яму роет,
я не рою никому.
С кем я схож — не я пойму.
Ты походишь на героя.
Пред такими пала Троя
лошаками, вся в дыму.
По таланту и уму
ты меня сильнее втрое;
ты — радетель. Мы с тобою
как Герасим и Муму.
Дашь конфетку — я приму,
а утопишь — под водою
я устрою кутерьму:
буду ночью приходить,
под окошком страшно выть
и не дам тебе покою,
так что лучше погодить.

В парикмахерской

Я немного не в себе
Я немного не в судьбе.
Я живой наполовину,
еле-еле, чуть дыша.
Семидневную щетиной
заросла моя душа.

Парикмахер, парикмахер,
ты великий дирижер,
ты зачем в чудесном взмахе
руки дивные простер?

В белом зеркале летаешь —
выше неба,
ниже крыш...

То ли реквием сыграешь,
то ли оземь угодишь.

* * *

Все, да не все нам память сохраняет.
Иные лета поглощает Лета.

Мария Николавна выбегает
из двери будущего горсовета.
Ее не узнают. Она в вуали.
На перекрестке встала, отдыхая.

Ту улицу переименовали
впоследствии, пока еще — Морская.
Пока — Морская. Мостовой торцовой
невнятен голос — вздох из-под копыта.

Она уже на площади Дворцовой
(Название почему-то не забыто).

Процокала тифлею на паркете.
За окнами присвистнул санный полоз.

«Где государь?»

«Изволят в кабинете...

И граф Орлов».

«Живой! А мне был голос...

Ну, слава богу! Стало быть, помстилось».

Выходит император. Он смущен.

«Мой друг, что с Вами?

«Мне сегодня снилась

Седая крыса. Что за гадкий сон!»

Первый диалог

— Мы, решетки разобьем,
мы собьем замки у входа
и железо перельем
на товары для народа!

— Мы решетки разобьем,
мы собьем замки у входа
и поделимся потом:
ты возьмешь металлолом,
я возьму себе свободу!

Второй диалог

Эй, кто-нибудь, спасите наши души!

Все суета, забота, маета.

— Как пишется?

— Все грамотней, все суше.

— А как ваш дух?

— Не вашему чета!

Третий диалог

И что бы эта нежность означала?

И кто бы предсказал исход такой!

— Ты помнишь все?

— От самого начала!

— И хочешь вновь?

— С начала, ангел мой!

Авгиевы Конюшни

Подъемля ногу в высоту,
живот явив глазам бесстыдно,
на площади и на мосту
мой город ржет парнокопытно.

Пока зрачки не замело,
прижму ладонч, словно шоры,
сквозь пальцы время потекло.
к вискам и слышу страшный шорох:

Оседлан взбалмошный пийт,
и ежедневную молитву
Неве стихами говорит
членораздельное копыто.

Бежать, не ожидая благ,
отсюда, где на парапете
вращает бедрами лошак
в тяжело-звонком менюэте!

И тук-постук и скок-поскок,
и звонко цокают копыта,
и смачно чавкают копыта
и по живым, и по убитым,
и нежно шелестят копыта
в ночном,
и дремлет пастушок.

Кораблик

Мой кораблик золотой!
Мой кораблик над Невой!
Будь всегда!
Священнодействуй,
путь предсказывая мой
с высоты Адмиралтейства
указующей кормой!

Летом штиль,
зимою ветер,
в марте снег,
потом — роса...
Словно летние соцветья,
распустились паруса.
Словно плевелы пустые —
корм коровы и быка.

Славьтесь, плотники морские!
Слава, слава морякам!

Солнце — утром,
ночью — тучи,
мы плывем...

Куда ж нам плыть,
мой веселый,
мой летучий,
мой голландец, может быть.

Меланхолия

Ни града́ не влекут, ни веси.
Запер дверь и окно зашторил.
Что-то нынче я стал невесел.
Навестил бы кто-нибудь, что ли!
Вроде чисто в дому, не тесно,
и тепло, из щелей не дует,
но — забытое богом место,
даже раки здесь не зимуют.

Монолог романтика

Ворочайтесь, букашки,
пустым забывшись сном,
как сонные барашки
на море голубом.
Поэт — иное дело:
поэт забыл покой,
чтобы душа гудела
шипящею волной.
Я знаю — сам таковский!
Я — как девятый вал!
Художник Айвазовский
меня
нарисовал!

Первый монолог орнитолога

Небо было ярко-сине,
а светило бело-бело.
Птичка в клетке билась, и не
в силах вылететь, запела:
«Чик-чирик, — запела птичка, —
фьють-фьють-фьють, — заныла пташка, —
мне не фомка, не отмычка

не помогут. Это тяжко.
Как припомню — жили предки
на свободе —
так заплачу.

Я на жизнь в железной клетке
жизнь желанную потрачу.

Я дитя лесных окраин,
вид квартиры мне противен,
отпусти меня, хозяин,
в этот ветер, в этот ливень,
в этот лес и в это поле,
в эти трели и полеты —
все равно меня не поишь
и не кормишь все равно ты!

Что за мерзкие замашки?!

Что за наглые привычки?!»

«Чик-чирик, — отвечу пташке, —
фьють-фьють-фьють», — замечу птичке.

Второй монолог орнитолога

Мой друг,

мой шаг отменно важен.

Мой друг,

мой взгляд отменно нежен, —

вот ключ от всех замочных скважин
гнездилищ, клеток и скворешен.

К тому же я пристойно выбрит,

к тому же — по научной части.

В subtilном домике колибри

я видел акт любовной страсти.

Вкус губ моих к тому же сочен,

к тому же — голос примадонны.

Я князь.

Мне право первой ночи

сороки дарят и вороны.

А ты, как женщина, бескрыла,

хотя зимой грустишь по югу.

Ты дверь мне ночью не открыла —

пришлось влетать через фрамугу.

Монолог поэта-песенника

Меня, не помнящего зла
и не вступающего в сделки,
в глаза ругают за глаза,
за завидующие гляделки.

Но как-то, кажется, не так.

Иные грезятся победы,
разменен мелочный пятак
для двухкопеечной беседы.

Просты любовные слова.

Они звучат в пустом эфире
вот так примерно:

— Дважды два...

Ты отвечаешь мне:

—...Четыре!

Что до тебя, то мир не мил.

Что до нее, то нет известий,

что до меня, то до-ре-ми-

фа-соль-ля-си—

готова песня.

Предсказание

В час, который за горою,
в час зеленый, голубой,
в час отбоя, в час покоя,
приключится и со мной

то, что с каждым часом ближе,
то, чем грежу наяву,
то, что в жизни ненавижу,
что никак не назову.

* * *

Поговорим, дружок, про нас,
про то, дружок, чего достигли,
про угли, что в горячем тигле,
сгорая, создают алмаз —
но, к сожаленью, не про нас.

Поговорим, дружок, про труд,
который пуст и нас не минет,
и про поленья, что в камине,
сгорая, создают уют...
Давно дровишек не несут.

Поговорим, дружок, про год,
богатый булкой и хлебом,
про жизнь: она, сближаясь с небом,
сгорая, создает почет...
Никто букетов не несет.

Поговорим, дружок, о том,
как ведьма пляшет над стаканом
и помелом своим поганым
нас выметает поделом...
Поговорим, дружок, потом.

* * *

Вот притаился осьминог.
Какой он влажный, дряблый, милый!
В его желе текут чернила,
он пишет за ночь двести строк...
Но может скушать кашалота.

Вот притаился кашалот.
Он тоже, если мыслить строго,
умеет слопать осьминога.
Вот кашалот разинул рот...
Он у меня украл креветку.

Живет креветка, не таясь,
и нас, и вас дарит приветом,
и зарождается при этом
та вязкая взаимосвязь,
с которой связываться низко.

Но флорой-фауной морской
я связан-скован, как кандалный,
и чей-то пальчик inferнальный,
уставясь в пуп протухший мой,
сипит: «Офелия всплывает!»

Эпитафия

Я долго жил, мечтал о многом
И был со многими знаком.
Вся жизнь моя была залогом.
Весь мир — моим ростовщиком.

Классики

Дружба, Верность. Умиление.
Славных предков имена.

Граф Толстой живет в именье
будущего Шеншина.
— Просим, просим! Нынче каша
гречневая!
— Угодил!
Граф Толстой еще не пашет,
мясо ест и очень мил.
Да и что такого в мясе?
Мясо ходит стороной.

— Афанасий Афанасьич,
как вы спали, дорогой?
Друг задумчив. Он скучает.
— Что хозяйство?
— Недосуг!
Говорит Лев Николаич:
— Экий, братец, ты фетюк!

Ведро. Буря. Непогода.
Бузина да череда.
Служба. Деньги. Переводы.
Дней проходит череда.

Споры. Вздоры. Словопренья.
— От Софи большой привет!
— Эти бедные селенья, —
огорчился бывший Фет.

Я—существую; следовательно,
как у червей и рыб,
и на меня наследственный
действует генотип.
Оставил, словно дыру во мне,
неизгладимый след
на хромосомном уровне
дедушкин фотопортрет.
Не ведаю я, что именно
он делал день изо дня.
Нет ничего его имени
в России, опричь меня.
Наличием научной хватки
обязан я ДНК
своей троюродной бабки
со стороны свояка.
Она попугая ара
в самом таком году
выучила по Марру
каяться на урду.
Немного позже по времени
обрел я абрис лица
в смеси отцовского семени
и маминого яйца.
Поныне дрожью особой
в ужасе перемен
в каждой хромосоме
трепещет мой каждый ген.

31 Декабря

Мне открылось откровеньем
в час бессоницы пустой,
что бывают сновиденья
провиденьями порой,
что бывает скрыта правда
в полуночной этой лжи,
что бывает слово «завтра»
нежеланным, неживым,
потому что будет утро
только тенью тьмы ночной,

потому что будет мудрость
глупой тенью за спиной...

Но забудем все напасти!
Нынче праздник все равно!
С Новым годом!
С новым счастьем!
С новым, новым, новым, но...

Деревня

Край неведомый, туманный,
мир, бегущий босиком...

Здесь живут небесной манной
или птичьим молоком.
Здесь сиреневые души
заигрались взапуски.

У меня опали уши —
вырастают лепестки!

Здесь в распахнутые поры
воздух льется без труда,
здесь ни фауны, ни флоры —
только небо и вода.
Приезжайте, кто не верит,
вместе будет веселей...

Не ложись на речкин берег —
нос измажешь в киселе.

Морская прогулка

Отплывали с митингом и с помпой,
с полным трюмом, такелажем, помпой
под тысячекратное ура,
не заметив, что под парусиною *
притаились выводки крысиные —
старцы, папы, мамы, детвора.

Кроме этих крыс, плывущих зайцем,
вышли в море несколько скитальцев.
Их никто не числил в новичках:
два матроса с выправкой завидною,
как со сковородкой, боцман с рындой,
капитан с цепочкой на очках.

Два матроса испарились первыми.
Кок рыдал, не в силах сладить с нервами,
боцман помянул такую мать.
Капитан на капитанском мостике
видел всюду усики и хвостики
и решил, что надо завязать.

Боцман был вторым, но не последним.
Он исчез беззвучно и бесследно,
только кок случайно увидал,
как в густых волнах по бейдевинду
шла на дно начищенная рында.
Капитан сказал, что завязал.
Кок в тоске стал ниже на два фута.
Капитан прокладывал маршруты,
брился, пел, крепился, пил вино,
но на повороте оверлоком
вдруг подумал: «Что там стало с коком?»
и припомнил: не видал давно.

Смотрит кэптен, свесивши за борт очки:
что это за лапки и за мордочки
серые, как серая земля?
Это крысы уплывают с тонущего,
посреди седой пучины стонущего,
умирающего корабля.

* * *

То, что начато недавно,
не окончится сейчас,
Что начнем потом — подавно
долго ждать заставит нас.
Что на свете ни случится —
все случится в должный срок.
Время длится, длится, длится,

подводить пора итог.
Пусть мой путь не так уж долог —
с пятилетку каждый год.
Как посмотрит геронтолог —
только скальпелем всплеснет!

Баррикада

Росли на поле рожь и лен,
гремели на плацу парады...

С двух разных двигаясь сторон,
сошлись враги у баррикады.
Один ружьишком старым тряс,
другой хвалил оружие это,
а третий, глуп и лупоглаз,
палил, подлец, из пистолета.
Телега, бочка и кровать
скрывали лик его бесстрашный,
но поздно, кажется, стрелять,
но вот дошло до рукопашной.

Сперва горой навалят хлам,
потом дерутся под горою,
потом разносят по домам
друзей, не вышедших из боя,
и баррикада **не гниет**,
и с каждым днем она нелепей;
по эту сторону ее
и по другую кровь и пепел.

Порох

Как-то неймется дворцу и не спится,
шорох и в полночь не стих...
Есть еще порох в пороховницах
халтуринских потайных!

Что-то скрежещет в рыцарском зале.
Призрак?
А как там насчет

кошек на крыше, мышек в подвале,
господи, что там еще?

Хрясть — и готово. Дело за малым.
Малый не промах, поди.
Пахнет селитрой и аммоналом,
серная пробка в груди;

Пахнет хрящами, мясом, больницей,
дымом спаленных трущоб...
Есть еще порох в пороховницах!
Господи, много ль еще?

* * *

Покуда город на плаву,
покуда дом не смыт волною,
хотя печалюсь, но живу,
забытый богом и тобою.

Но слух идет из дальних мест,
что лес к порогу подступает;
в лесу полночном люпус эст,
и сердце в страхе обмирает.

Ежи

Был зимний день. Пробирала дрожь.
Погода была свежа.
Но с Севера к Югу направился еж,
и с Юга на Север отправился еж —
встретились два ежа.

Был первый еж на ежей похож,
второй — на него похож.
— Ну, как дела? — улыбнулся еж.
— Идут! — улыбнулся еж.

Пусть время сна, пусть пора порош —
разве в норке уснешь?
— Ведь время не ждет! — улыбнулся еж.
— Идет! — улыбнулся еж.

— До скорой встречи!
— До встречи, друг!
Земля ведь кругла, как еж:
на Север пойдешь — набредешь на Юг
и снова назад прибредешь!

— Пойдешь гулять — заходи смелей!
Поедешь — смелей заезжай!

Ведь каждый ежик — за всех ежей
и все ежи — за ежа!

* * *

Кем угодно можно в жизни стать,
но нельзя не быть самим собою:
пусть козе захочется летать —
не бывать ей в жизни стрекозою.
Каждому свой вид, свой цвет, свой срок
дан природой — не поспоришь с нею.

У сороконожки — сорок ног.

Две людские — в сорок раз быстрее.

Тут уж не до ссор, не до обид,
каждому свое предназначенье.

Кто родился ползать — не взлетит.

Гусеница — это исключенье.

* * *

Вопросов суетная мелочь
в горбатый выстроилась ряд:

что делать,
(если что-то делать)?

И важно ли,
кто виноват?

Пусть озарится мозг ответом,
как светом отгоревших звезд!

Быть иль не быть, вот в чем...

Вот в этом?!

Тогда ответ предельно прост.

Но, рассуждая без ухмылок,
а попросту, черт побери,
последний времени обмылок
да не пушу на пузыри.

Похороны

Хоронила его вся страна.
Ну, не то чтобы так уж сполна
вся страна — а вот пол — без сомнений.
Ибо был он умен и учен,
справедлив, совестьлив, отлучен
и — не будем кокетничать — гений.

Шел за гробом десяток крестьян,
Леонид Пастернак и Душан,
а покойник нахмурился гневно.
Шли наследники: Лев и Сергей,
и калмык, и тунгуз, и еврей —
все языки и Софья Андреевна.

Сын — за дочкой, за внучкой — внучок.
Социал-демократы венки
принесли и застыли в молчаньи.
А Россия вершила дела,
и могила травой поросла —
не забыли, но так в завещаньи.

На деревни спускалась страда,
над именем сгущалась беда,
и земля не пахалась без графа...
А какая была борода!
А какая была борода!
А уж проза — почти что полшкафа!

Прогулки

Два ребенка гуляют в Сокольниках.
— Русь великая — царство невольников,
что за грусть, драгоценный Сашенька!
— В бой за Русь, дорогой Николенька!

Двое взрослых гуляют по Франции.
— Еще живо величье нации,
смерд — наш брат, Александр Иванович!
— Ты — наш бард, Николай Платонович!
— Бьет набат, Александр Иванович!

Двое старцев гуляют по Лондону.
— Ваши детки для радости созданы,
и жена, Александр Иванович!
— Где ж она, Николай Платонович?
— У меня, Александр Иванович!

Баллада с тенденцией

Мы все несовершенны,
и вот тому пример:
художник Ярошенко
выходит на пленер.
Он тихо в рощу входит,
он пишет сонный мрак,
а на холсте выходит
заплеванный кабак.
Видны сквозь листья лица,
склоненные к борщу,
а на березе птица
щебечет: «Не пушу!»
Вновь жанровая сценка
и нравы так грубы...
«Мы, — молвил Ярошенко, —
тенденции рабы.
На днях с натуры Шишкин
писал публичный дом,
а получились шишки
и мишка под кустом...»

Любовь к ближнему

Придумал любовь к ближнему
Сиятельный граф Толстой.
Понравилась ближнему блажь его,
Рубахи простой покрой.
Крестьянки были неловкие
в любви, а стали ловчей,

Рубаха стала толстовкою,
Толстовцами — те, кто в ней.

Придумали фотографию
Люди без черт и слов.
К примеру: «Вот это — граф и я», —
Показывает Чертков.
А на лице сиятельства —
Глаза, а в бездонных них
Причины и обстоятельства,
Невнятные для чужих.

Придумали грампластинку
Не русские — Эдисон,
Но граф оценил новинку
И речи вел в микрофон:
Про силу духа и разума,
Про жизнь и ее конец,
Но чаще всего рассказывал
Сказку про огурец.

Романтизм

Живем, как можем. Но, когда приспичит,
вдруг вспомним позапрошлые огни.
Как ромбовиден мир и призматичен,
как схематичен...

А в былые дни!

Тогда не отличали ромб от призмы,
да и к чему? Поэт — не геометр.
Высокое искусство романтизма
не жаловало мелочных примет.
Какие были, черт возьми их, были!
Какой пылал и разгорался пыл!

Все знают: обокрали и побили.
Романтик говорит, что прокутил.
Как все земное хочется возвысить
И как ясна дорога впереди!

В низ живота ударит меткий выстрел.
Романтик скажет, что свинец — в груди.

Алексей ДИДУРОВ

Посрамление лимита

ПОЭМА СТАНСОВ

Посвящается Л. К.

Вот вам и «милости просим», и поздняя осень.
Боже мой, в самом-то деле грачи улетели!
В семь ты исчезнешь—поставь мне будильник на восемь,
Чтоб я хоть часик побыл властелином постели!

В сем типовом общежитии для братья лимитной
Нашей старухой-эпохой, фригидной ехидной
Лишь односпальные выданы девам кровати,
Дабы медово не жити, не озоровати.

Поздняя осень, одна лишь она виновата
В том, что вела ты на окна меня воровато,
В том, что достала вконец нас летучая вата —
Вата, в которой и правда блуждать хреновато.

В ад свой веселый, бухая лимитчица Леда —
Лида; прости, — провела ты либидо-поэта.
Кстати, учти: среди монстров, глазевших на Данта,
Ни одного нет, кто б выдержал взгляд коменданта...

Помню, марьяжный мандраж я унял еле-еле,
Помню, кричал на весь парк, что грачи улетели.
Привкусы «Плиски», тоски и соски за вискозой —
Фирменный ерш от смешенья поэзии с прозой.

Нет, не напрасно я пережил все, что я прожил:
Все, что не сжег самолично — снежок запорошил,
И сапожок из сельповских — он легонек в шаге! —
Путаный след пересек мой и вывел к общаге.

«Милости просим!» — спросила ты милости бодро,
Дверь распахнула, поверив несвежим преданьям.
Я, положивши по глазу на грудь и на бедра,
Смело качнулся навстречу твоим испытаньям.

Произнесла: «Познакомьтесь с известным поэтом!»
Цербер ваш приговорил меня с первого взгляда.
В виде залога рискнув комсомольским билетом,
Яда злорадного сглаза хлебнула наяда.

Сдернув косынку со стрижки под Лайзу Минелли,
Чай разлила и варенья плеснула в розетки,
А у стола Зульфия с Фатимой каменели —
Две азиатки, соседки, не девки, а детки.

Ветер эпохи угнал их из отчего стана.
Сунул ишачить на стройки Москвы неустанно.
Встали, оделись, сказали, что нужно на смену,
Чуя, что будет, что видеть не должно нацмену.

Цвета вороньего косы, тугие, как плетки,
Я проводил с огорченьем: «Грачи улетели!»
Ты же, смеясь: «Ну и бабник!», стелясь на постели,
С долгих лучей своих томно счехляла колготки.

Рыцарь и бард всех и всяческих дефлораций,
Ярый сторонник почного слияния наций,
Я не для вида взгрустнул по тебе, «доль че вита»,
Сам, как лимитчик, устав от диктата лимита...

Щелк — и темно. И ушла, куда надо, бравада.
Оба ума испарились, как минус на минус.
В том, что я темным теплом привалюсь и надвинусь,
Поздняя осень моя виновата до гроба...

Жар и озноб — и апломб сексуального сноба
Фьють — как от «фомки» задвижка и плomba со склада!
В том, что смолчу я об этом — не ты виновата.
Поздняя осень моя виновата до гроба...

Вот уже длится и длится, что длится и длится...
Только из впадин Пацифика, спрыгнув с Памира,
Все-таки слышу — сшибаются слета два мира
У Кольцевой, где сошлась со страной столица!

В парке окраинном, в барском пруду обмелевшем
Лед родился — ощущаю я в собственном теле...
Трахаться надо тебе, моя ласточка, с лешим,
Если он жив. А грачи мои все улетели...

Милости я не просил — я оказывал милость!
Видишь — из жара жерла изливаюсь на стужу.
Так же и в жизни —

 сколь взглядов на мне совместилося:
Смотрят: когда же я сдамся, сломаюсь, не сдюжу.

Нет, я могу еще счастье менять на несчастье!
И ни к чему эти слезы и стоны участия —
Нет ощущений острее под небесною сенью,
Чем закрывать для себя все дороги к спасенью!..

Дрожь и весенние всхлипы, кошачье урчанье,
Лед остывающей челки на лбу еще юном.
Как ты еще не прогрета такими ночами
В холоде жизни, сегодня для нас обоюдном...

Фортку закрою, а ты оставайся раздетая!
В разных с тобой мы сезонах единой порою.
Пахнем — странней и богаче не знаю букета, —
Снегом, друг другом, асфальтом, дождем и корою...

Петр КРАСНОПЕРОВ

* * *

Звезда никак не зажигалась—наверно, спички отсырели,
А ведь должна была зажечься — неколебима и горда.
Нам говорили: скоро! скоро! — и мы тускнели и старели,
Идя за славой по дороге, что уводила в Никуда.

Вершители! — вы победили. Вам удалось нас
«не заметить».
И вдоль границы неприятья, вдоль отчуждающей стены
Прошли неслышно мы,
как будто нас не было и нет на свете,
Нас не было и нет России, и мы России не нужны.

* * *

А кто-то хорошо живет в России,
Пот ни при чем, кому как повезет.
Тебя трудом гляди как иссушили,
Тебя надежд разбитых червь сосет.
А кто-то даже пальцем не ударит,
Но все течет под власть его звезды.
Не по делам судьба нас благом дарит,
Не за усилья и не за труды.

* * *

Счастливец тот, кто вырвался отсюда,
Кто лицемерную не слышит рядом речь.
Заслушаться ее — тщету возжечь,
Азарт патриотического зуда.
Счастливец тот, кто где-то там живет,
И роль свою свободно исполняет,
Воистину живет и выбирает,
И голову о тупики не бьет.
У нас нет выбора. Не выбрал — умирай
От черной безысходности и скуки.

Счастливец, кто покинул милый край,
Отчизны страшные разжал на горле руки.

* * *

Знаю ли что о любви и о воле?
Не представляю, не представлял.
Родины страшное электрополе
Я никогда еще не раздвигал.
Жизнь алкоголика, монстра, уroda —
Кто это жизнью моею назвал?
Зню ли я, что такое Свобода?
Не представляю, не представлял.

* * *

Я, может быть, уйду из снов литературы,
Я, может, буду жить для одного себя,
И лучшие стихи, как тонкие гравюры,
Я буду создавать под небом сентября.
Писать не для людей, но Богу, перед Богом,
Писать для зимних звезд, для сердца, для луча
Я, может быть, уйду по нищенским дорогам,
От грязи, от идей, оваций, стукача.

* * *

Здесь все не по мне,
И что мне придумать — не знаю,
Зачем я живу,
Зачем эти дни прожигаю.
На прожитый путь оглянусь —
Не радость — сплошные провалы,
Не праздники и не труды,
Пещерные черные залы.
Я с каменным еду лицом,
От жизни устав, от падений,
Себе я кажусь мертвецом,
Где свежесть? где добрый мой гений?
Я каменный гулкий дебил,

В ком стонет душа и страдает,
Мне ангел любви изменил.
И выхода путь мой не знает.

Они и мы

Они богаты, а мы бедны,
Тень изможденья на лицах гордых.
Всеокеанский раскат волны
Их озаряет, спортивных, бодрых.
Как плот спасенья их свет открыт,
Колумб в их генах свой след оставил.
А нам все помнить, как царь убит,
Как страшный гений страну правил.

* * *

«Блаженны плачущие,
ибо утешатся»

Бессилен я, так дай хоть слезы,
Чтоб от бессилья плакать мне,
Чтоб разрыдались эти грозы,
Заклинившие в глубине,
Так дай хоть слезы, чтоб в заклантой
Издевке ненавистных дней,
В моей отчизне бесноватой
Утешиться душе моей.

* * *

Казалось, далекий неведомый голос
Мне древнюю карту читал и листал:
«А эта печальная синяя область —
Владенья прекрасной богини Иштар».
Они пролегали глубокой долиной,
Касаясь границей пальмовых стран.
Там что-то казалось мне связанным с Ниной,
Поскольку мелькнуло название Севан..
И жрица богини вплотную сидела

С блестящими рожками на голове,
И привкус ее марсианского тела,
Уже исчезающего в синеве.

* * *

О труднодоступной, но сладостной жизни,
О тязько идущей, но жутко родной,
О скудной, руинной, великой Отчизне,
Об опытах грешных, о власти земной,
О странном мышлении и поведеньи
Своем, и о мире, где точно дремлю —
Медово и страстно вскрывать откровенья —
На этом я буду стоять и стою.

Ванна

1

К двенадцати подходят стрелки,
Четыре светятся горелки,
Бумага, грязные тарелки
Белеют на столе ночном.
Мы одиноки на террасе
В осеннем этом позднем часе,
И я учусь в девятом классе
Как и тогда, а ты в восьмом.
Твоя реальность не обманна,
Но как во сне немного странно:
Чугунная ржавеет ванна,
И в баке греется вода.
Мы без одежд, мы будем мыться,
И тело тела не стыдится,
И так легко мне прислониться
К твоей ладони, как тогда.
Ты в воду рядышком садишься,
Во тьме колеблешься, змеишься
И я шепчу, что часто снишься,
Что посвятил тебе стихи.
И плеск и шепот беспризорный,
И свет луны высокогорный,
Звучанье ниточки мажорной
И бедные твои соски.
Взаимность наша целокупна,
И не преступна, не преступна,

Ноздрям и пальцам все доступно,
 И тайнств горькая трава...
 Я сколь угодно, сколь угодно
 Могу дышать тобой свободно,
 Как будто здесь бесповоротно
 Мне на тебя даны права.
 ...Но кто шепнул, внеся остуду,
 Что я закрою дверцу чуду,
 И Слово — Слово я забуду
 За чашу близости с тобой?
 Как будто дар предмет обмена...
 Мерцают матово колена,
 Доверчиво синее вена,
 Звериный жизненный покой.

Мост

Наташа, зачем мы с тобою идем
 На этот таинственный мост деревянный,
 Что выглянулся длинным и узким хребтом
 Над влажно горящей ночью поляной?
 Он каждой ступенькою ветхо скрипит,
 Оглобли, перила дрожат под руками,
 В конце его где-то во мраке стоит
 Разрушенной церкви кирпичный фундамент.
 Как мокрые травы волшебю блестят
 На этом, в росе утопающем поле.
 Наташа мне шепчет: вернемся назад,
 Мы эту церквушку не видели, что ли?
 Спускаемся, руку беру я ее,
 И тут же, не выдержав, руку целую,
 Почти равнодушную, как забытье,
 Чужую прохладу, росу молодую.
 Как много хотелось мне б выдохнуть ей:
 Ведь вот и невеста мне снилась → «Наташа»
 Наташа, я жизни не знаю своей,
 Какая мне здесь уготована чаша.
 ...Наташа присела в горящей траве,
 Встает, и в руке ее бабочка бьется,
 Вернее не бабочка — ящерики, две,
 Сцепились как вензель... Наташа смеется.

И ящерок жалко, и не разобрать:
В них явлена форма какого-то знака.
Хочу безобразное на руку взять!
Доносится голос Наташи из мрака.

* * *

Свет коричневый и сонный
Над Отчизною плывет.
Чуешь, вечный привкус зоны
В нашем воздухе живет.
Что нам делать — мы привыкли
К подчиненному житью.
Кто-то умный нас зациклил,
Выпил соки на корню.
Кто-то с вышки смотрит зорко,
Погляди, как он хорош!
Чуешь, зона, это — зона,
Дальше зоны не уйдешь.

Приход

Памяти матери

1

Снишься глубже, мрачней,
Будто вовсе ты не уходила.
«Что глумишься над ней?» —
У меня вдруг про куклу спросила.
Стала шкафом скрипеть,
Извлекла ту несчастную куклу.
Стала кукла глядеть,
Поднимать заскорузлую руку.
«Погляди, вот и вот,
Перегарными злыми губами
Ее чистенький рот
Как изгваздал ты, как испоганил!»
«Так ведь воет она!
Вот послушай на уровне брюха,
Видно, чем-то больна,
Видно, в ней замурована муха!»

«Но халаты мои,
Постирал ты хотя бы халаты,
Те, в больничной крови,
Те, что я принесла из палаты?»
«Не дави же ты, мать,
Не дави, а иначе уеду,
Так и будешь искать,
По тому да по этому свету...»
...Грязно, пыльно кругом,
Тараканы трещат под ногами.
Полный нечисти дом,
Сновиденья безумный пергамент.

2

Проснусь средь ночи, погоди...
Откуда звук, и что он значит?
Зачем, зачем в моей груди
Пищалка кукольная плачет?
Печальный жалобный клаксон,
Еще не слышал я печальней,
Как вправду он похож на стон
Той материнской куклы дальней.
...Ни куклы нет, ни мамы нет...
А жалоба все укоряет,
Так не похожая на бред.
Меня ль, как куклу, кто качает?
Замру на время не дыша...
Вздохну — и вновь она занает...
Иль плачет то моя душа,
Совсем замученная мною?

3

Засыпалось во тьме безотрадной,
У механиков, на топчане...
Голубою высокой прохладой
Ты опять приходила ко мне.
В незнакомой и светлой одежде
Тонко чуждой была, молодой.
Говорила о близком отъезде
Во Флоренцию, край золотой.
На столе саквояж и панاما,
Воздух странствия в доме царил.

«Разве ты не возьмешь меня, мама,
В путешествие, — я говорил. —
Или нужен я здесь, но кому?..»
Или связь между нами распалась,
Голубая прохлада прѣщалась,
Я расслышать успел: «Не возьму».

Прогулка с жуком

Тяжелый жук, крошечная природа,
Что знаю я и что тебе скажу?
Найдя тебя на плитах перехода,
С тобою в ночь июля выхожу:

И мы одни, и все ты понимаешь,
Мерцает пульс в пластинчатой груди,
Драчливый мой, таинственный товарищ,
С которым ненадолго по пути.

Порой зеленоватый древний лучик
Сверкнет в ячейках грановитых глаз,
Как будто вправду существует ключик,
Чтоб заводить тебя в неделю раз.

Где ж твой язык и в чем твое сознание,
О друг земной, откуда эта грусть?
Быть может, сам под взглядом сверхсоздания
Я, как и ты, упрямо шевелюсь?

Готовясь в путь, ты лезешь мне на пальцы.
И вот мы перед Космосом равны;
И падает на твой крылатый панцирь
Свет яркой убывающей луны.

Дракон

Виталию

И хрупкость горного пейзажа,
И море в зыблемом стекле,
И звон детей, и галька пляжа,
И все почти как на Земле,
Лишь воздух странно так прозрачен,

Его как будто вовсе нет,
Лишь только небосвод окрашен
Не в голубой, а в черный цвет.
Стою, и море набегаёт,
И оставляет пенный след,
Мне руку тяжко охлаждает
Стальной ракетный пистолет.
Перед мерцающею бездной
Что за тоска крадется в грудь,
И в черный колокол небесный
Зачем так хочется стрельнуть?
Стреляю... Грохот и шипенье,
И одинокая звезда
На небе всходит на мгновенье
И исчезает без следа...
Но что это? В ответ на выстрел
Бездонный дрогнул потолок,
Над морем вспыхивает искра —
Нет, шевелящийся клубок...
Дракон, дракон! — все закричали.
Он в здешнем небе обитал.
Как я забыл об этой твари,
Зачем будил, зачем стрелял?!
Бежать! Как быстро пляж пустеет.
И я уже стою один.
Сверкающим воздушным змеем
Дракон планирует с вершин:
Тугие мышечные грозди,
Как эластичная броня,
Он весь как из слоновой кости
И с грозной головой коня.
Я падаю ничком за камень,
Вжимаюсь в галечник сырой,
И исполинскими кругами
Он долго ходит надо мной.
Парит, зовет меня, стенает
И щебень крыльями метет...
И вертикально вдруг взмывает
Назад, в свой черный небосвод.

Ленинград

Здесь только прошлое, здесь будущего нет,
Здесь негде спрятаться, здесь негде мне укрыться,
Но как я счастлив вновь увидеть твой рассвет,
Над этой черной скандинавской черепицей.
С вокзала чувствовать, что ты, что это ты,
Все тот, единственный, громадный, ледянящий.
Каналы мерзнувшие, грязные мосты,
Морозный пар, над горизонтом восходящий.
Я, как в свободу, как в певучий черный сон,
Кидаюсь в улицы твои еще ночные,
Уже покой твоих проспектов оживлен,
В кофейнях светятся витрины золотые.
Влетаю с холода на миг в твое метро,
Дышу на красные негнущиеся руки.
Сегодня волен я, сегодня все сошло,
Что годы мучило меня, как в адском круге.
И пассажиров ленинградские глаза,
Так удивительно мне видеть, понимая
Всю эту разницу, все эти полюса,
Что это мир другой и музыка другая.
Морозно, северно, но как надежно тут,
И мне не жаль себя — пускай насквозь продует.
Ты город прошлого, где сны мои живут,
Ты знак надежды, что Элизий существует.

* * *

Измождены мы родиной своею,
Изломаны разбитостью дорог.
Я даже и надеяться не смею,
Что ей однажды воссияет Бог.
Что ангелы сойдут сюда, как судьи,
Мечами света цепи разбивать,
Что страшные, как скорпионы, люди
По ней не будут больше проползать.

Холм

И мы лежали, как стрекозы,
На подоконнике ночном,

На животе к плечу плечом,
Легки, как прах, как пыль мимозы,
Как ящери, обнажены,
Облиты яркими лучами
Могучей каменной луны,
Повисшей низко перед нами.
Она ли нас собой влекла,
Ее ли царства нас хотели?
Но с ярко-желтого стола
Мы вдруг легонечно взлетели...
Над сонной мертвенной травой
Полет наш невысокий стлался,
И стебель колкий и сухой
Ладонью странно ощущался,
Когда к нему я прикасался,
Чтоб тела он не задевал...
Летели, и глазам предстал
Поросший густо холм могучий,
Кустарник хищный и колючий
Узлами, шишками торчал
И оплетал, как паутиной,
Тот холм, могучий шлем былинный,
Приют нетопырей, мышей,
Лягушек, филинов, ужей.
Болота сонно лепетали,
Мы ближе, ближе подлетали,
И стало вдруг понятно нам:
Не холм то был, но древний храм,
Да—древний храм, чьи очертанья,
Сквозь сырость, кваканье, шуршанье,
Под слоем веток и земли
Мы все же различить могли.
...Я просыпался — ты лежала,
Глядела вверх перед собой,
Свисало на пол покрывало,
Дымился шарик голубой.
И луч холодный и певучий
Тек по стене, и на ковре,
Светился линией плакучей
На мраморном твоём бедре...
Волна катилась на сушу,
И шелестел ночной песок,
Казалось, высосет всю душу
Голубоватый лепесток.

Ты ведьма или ты Сивилла?
Ведь это ты мое ребро.
Зачем в тебе такая сила,
Ночное темное добро?
Тянусь к тебе, а ты не слышишь...
Гордыня рук за головой.
Где ты была и чем ты дышишь,
Кто говорит сейчас с тобой?

Рептилии

Когда Демиург, созидающий душу,
Склоняясь, трудился над ней,
Рептилии тяжко ступали на сушу
Из теплых лимонных морей.
Девонские плесы влажнели широко,
Трехпалый печатался след.
Покрытое пленкою мутное око
Впервые приветствовал свет.
Казалось, их создали просто от скуки,
В преддверии главных торжеств,
Умелые, но торопливые руки
Смешливых вторичных божеств.
Ползли, толстокожи и несоразмерны,
Зеленый твердел пластилин.
И оттиск небесной чужой эпидермы
Застыл на поверхности спин.
Я вижу их в бликах закатной тревоги,
В лучах безымянных светил —
Гигантов, привставших на мощные ноги,
Гигантов, зарывшихся в ил.
Кочующих, ползающих полуслепо,
Звенящих броней вокруг,
Заполнивших землю и лезущих в небо,
Пока созидал Демиург.

Роботы

Так кто мы такие? взгляни сколько клавишей, кнопок!
И лучше не трогать, ведь стоит оплошно нажать —
Вихляя суставами, в нас поднимается робот,
Готовый работать, кривляться, любить, разрушать.

И кто наш Конструктор? куда столько тайных релюшек?
Еще мы гиганты, готовые вскрыть небосвод —
Сработает что-то и нас превращает в зверушек,
Подопытных мышек, что путают выход и вход.
Себе доверяясь, да что мы про все это знаем,
Забывшие напрочь — куда мы, откуда и чьи?
Нажатие — пляшем.
Нажатие — мы умираем.
Вот тумблер забвенья,
Вот страшная кнопка любви.
Пропали инструкции, роботом Хаос играет.
Лишь тропкой свободы бежит неподкупное «я»;
И медлит Конструктор, и тайны нам не открывает,
Для чуда создавший нас в свете начального дня.

* * *

Наклонялся я над жизнью муравьиной,
В мир участливый спускался по стеблю,
Заповедными инстинктами хранимый,
Обретал себя в салатном краю.
Как соломинка, проламывался лучик,
Открывая мне лесные родники,
И жучок, неподражаемый шелкунчик,
С легким шелканьем подпрыгивал с руки.
И улитка мне показывала рожки,
И коровка улетала в небеса,
И оторванная ножка косиножки
Все косила, как волшебная коса.
Но давно я не встречаю косиножек,
Видно, помнят, не прощают мне ноги,
И улитка не показывает рожек
Мне уже ни за какие пироги.
Лишь по-прежнему коровка доверяет,
Не умеет замыкаться и мрачнеть,
По руке бежит и крылышки вскрывает,
Чтоб за черным и за белым полететь.

* * *

О странная жизнь — надрывание связок!
О смутная жизнь — надрывание жил!

И воздух плакатов и праздничных красок
Оскомину старым фасадам набил.
О эти за мясом приезжие цепи,
Кулачные за колбасою бои,
Вот все, что мы любим, и все, что мы ценим,
Предел нашей доблести, нашей любви.
Заплачь, упав на асфальт бессердечный,
Отдай свои книги гудящим печам,
Поскольку не нужен нам свет человеческий
И тайной прохлады не надобно нам.
...Сказал Ты: однажды зазыблятся стены,
И трещина смысла по небу промчит,
И камня на камне от этих строений,
Где прорва людская сегодня кишит,
И мертвый на троне, как статуя Будды,
Сам бог Индустрии вполнеба взойдет,
Весь ржаво железный, не больше минуты,
И с громом в разверстую землю уйдет.
И снова платформы земные сойдутся,
И рухнут заводы последней трубой,
И люди покорно в стада соберутся,
Держась и питаясь единой травой.
И темный зверек, что похож на собаку,
Однажды нам книгу в зубах принесет,
И сядет листать и едва ли не плакать,
Взглянуть предлагая, ну вот же, ну вот!
Вот где вы ошиблись, ведь это же было!
И лапкой мохнатой по строчкам водить...
Но люди посмотрят устало, уныло,
И силы не хватит, чтоб книгу закрыть.
И, грязной эпохи финал завершая,
На тысячу лет напоззут ледники,
Для новых времен под собой погребая
Искусства бессмертные родники.

* * *

Жизнь, как цепь, алкогольным поросшая мхом,
Вспоминается с болью.
Точно я и не жил, оставляя на потом.
Мысль, побитая молью.
Мысль во мне не жила, продиралась сквозь лес
И с душой не играла,
Чистый бисер прозрения, привкус чудес

В память мне не вкрапляла.
В спящем теле своем я ее проносил,
Как пустую коробку,
В грязных баках ее, точно мусор, возил,
Забывал, как уродку.
Странно... я и не жил, а от шума устал,
Вот ведь как получилось.
Память, память моя, точно певчий кристалл,
Если б ты возродилась!

* * *

Свет вечерний, золотой, глубокий,
Старый дом моей родной семьи.
Я читаю громовые строки
О победе света и любви.
Я читаю, точно изгоняю
Мучивших нас годы духов зла.
Над столом овальным пролетаю,
Полный силы, веры, торжества.
И не знаю, ничего не знаю:
Кто вложил мне в сердце этот огонь?
Так победно прорицал Исая,
Так Михей на ребра клал ладонь.
Пролетаю от окна до двери,
Становлюсь то малым, то большим.
Все мы вместе — ни одной потери,
Все мы вместе за столом одним.

* * *

Последний актуальный анекдот.
Вполголоса посмейся виновато.
Как сумрачно талантлив наш народ,
Как весело талантлив был когда-то.
Не оттого ль, что жадностью корней
Он влагу пил наследий ядовитых,
На нас лежат проклятия царей,
Пролятия царевичей убитых.
Да сами мы уже который год
Таим проклятья собственной державе,
Развалина-гигантша не встает,
К былой не может приобщиться славе.

АЛЕКСАНДР БРУНЬКО

Баллада о бессоннице

Поэма

По мотивам народных сказок

Была королева та ликом бела...
Бывало, налево давала-брала,
Водяру по праздникам лихо пила,
Дела в королевстве прекрасно вела —
Одна, без супруга... Хоть, вспомним, была
Бела и упруга... Такие дела!

Король же — напротив — был хмур и рогат,
Касаемо плоти — давно суррогат,
Ну то есть — увы! — уж пред ним не стоял
Тот самый вопрос — идеал одеял...
Его же супруга, напомним, была
Бела и упруга... Такие дела!

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Конец этой песни — смекаешь, каков? —
Направо ль пущу эту песенку я —
Оставлю красавицу без ничего,
Налево ль помчусь, закусив удила —
Цензура завоет, боюсь... Ну, дела!

...А что ж королева, что ликом бела?
Беда! Похудела! Забыла дела!
Не ест и не спит: вся иссохла — Кашей!
Использует за ночь полсотни свечей!
Ну то-есть дела — точно сажа бела...
Король чуть не плачет...
Такие дела!

И вот вся страна потрясенно гудит,
Набат — точно ядра — на землю летит,
Толпится на площади черный народ,

Трагическим басом глашатай орет:
— Страна! Слушай Наш Высочайший Указ
За номером 201... (Вот те раз!).

Успехов немалых достигла страна:
Воздвигнута вокруг королевства стена —
Пусть сунется только заморская дрянь!
Построено 200 острогов и бань!
Велик наш король! Нет мудрее чела!
Он нас вдохновил на большие дела!

ОДНАКО и в нашей стране... иногда
Под носом у стражи гуляет беда:
Проникла беда королеве во грудь,
С тех пор ее милость не может уснуть —
Стишки сочиняет, как стенка бела...
Великое горе!
Такие дела!

Так вот, повеление Наше, народ! —
Кто злую хворобу сию отведет,
Кто сделает так, что больная уснет
Полцарства — взамен за лекарство — возьмет!
А нет — так на плаху пойдет, под топор,
И — на фиг башка, и навеки позор!
Амины!

...Исподлобья глашатай сверкнул,
И — пальцами в перстнях — бумагу свернул.
А что же толпа? Потрясенно молчит,
Лишь слышно, как что-то жужжит иль журчит:
Корова, наверно, а может — пчела...
Да хрен его знает!
Такие дела...

И вот — полетели пострелы-гонцы —
Как стрелы — как в хижины, так и в дворцы,
И все загалдели: бедняжка, не спит!
Того и гляди — скovyрнется с копыт!
На помощь! Куды подевались врачи?!
Исчезли, прохвосты — кричи не кричи!

Попрятались, сволочи... А между тем
Красавица наша «доходит» совсем,
Король сам не свой — и худой, и смурной, —
Корябает царственный свой геморрой,
И денно, и ношно — гнетуще тихи —
Шаги королевы, поющей стихи:

— Сижу за решеткой в темнице сырой,
По небу ползет таракан молодой,
Ползет ли направо — такая тоска!
А слева грозит гробовая доска,
Наверх ли ползет — совсем ничего,
Мой грустный товарищ...
Гренада моя!

Но долго ли, коротко ль, этак ли, так —
Но вот объявляется первый смельчак:
Пудренные букли, крученный парик —
Лейб-лекарь германский — ученый старик !
Идет к королю величаво, и тот
Его к королеве сейчас же ведет.

А что ж королева, что еле жива? —
В минуту надела шелка-кружева,
Белье попрозрачней, чулки-электрик —
(Бедняжка не знала, что лекарь — старик!),
Подкрасила губки, на ложе легла...
Эх, мать моя мама — такие дела!

Вот лекарь заходит... О боже, кошмар! —
С красавицей чуть не случился удар!
Как смерть побледнев, одичало молчит...
А старый магистр, шепелявя, мычит:
— Что Вас беспокоит, голубка моя?
Поведайте мне, ничего не тая,

Король мне сказал, что голубка не спит?
Вас что-нибудь мучит?
«Голубка» — молчит.
Ученый вздохнул и аптечку достал,
А там — люминал, барбитал, нембутал! —
Сто сорок таблеток смешал, поболтал,
И дал королеве целебный бокал.

Вот это лекарство! Уложит слона!
...Лежит королева — нежна и стройна —
В блаженных объятиях сна?
Ни хрена! —
Уж день на исходе — не спит, сатана!
— Ну как? — врач со страху бледнющ, как стена...
— ПОШЕЛ БЫ ТЫ... — вскричала она.

И тотчас же слуги вломились, крича,
Под белые руки схватили хрыча,
Сверкнул, опускаясь, тяжелый топор, —
И — на фиг башка, и навеки позор!
Паскудная алчность в могилу свела
Светило науки... Такие дела!

...И снова по небу ползет таракан...
Но — чу! подъезжает к дворцу караван:
Верблюды, надменно качаясь, идут,
Под тяжестью нош прогибаясь, несут —
Ковры, ожерелья... А, главное, сам
Абу-аль-Бахрами — великий имам!

И вот королю поклонился мудрец.
— О шах! — к королю обратился мудрец,
Все мудрости я и ученья постиг,
Все тайны, секреты леченья постиг,
Дары пациентов моих видишь ты! —
Сказал он, и слышит в ответ:
— Подожди!

Хайлом торговать, нечестивец, кончай,
Диплом представлять, проходимец, кончай!
Давай без фиглярства — туды твою мать,
Излечишь — полцарства — туды твою мать,
А нет — так на плаху пойдешь, под топор,
И — на фиг башка, и навеки позор!

...Идет к королеве великий имам,
В печали и гневe великий имам.
«Ну я те устрою, безмозглый король,
Помпею и Трою, безмозглый король,
Я вас проучу, да поможет Аллах,
Я вас полечу, да поможет Аллах!

А что ж королева? О ней бы пора! —
Прознав про врача, прокричала «Ура!»,
Все шмотки с себя, торопясь, сорвала,
Осталась, как Ева, нага и бела,
В предчувствии счастья легла на диван...
И... мать твою в дышло!!! — опять старикан!

Плачь, сердце разбитое, бейся и плачь...
Но врач к ней подходит, как к жертве палач,
Ему наплевать, что она без трусов!
Он всех их проучит, безмозглых ослов!
Он, как дирижер, над красавицей встал,
И взор, как струящийся лал, запылал...

— О гуриеликая! Славен твой стан!
Как струи арыка, желанен твой стан!
Усни — и к твоим благодатным устам
Прильнет легендарный красавец Рустам,
Лаская, тебя он обнимет рукой...
Спи, нежная гурия, вечный покой...

Так пел он... А рядом, икая порой,
Храпел уронивший корону король,
Уснули министры, писцы, караул,
Палач с занесенной секирой — уснул,
Спит все — от тайги до британских морей...
А что ж королева? Не спит — хоть убей!

Лишь — с каждой минутой зверея — глядит...
А вещей имам вдохновенно бухтит:
— Сомкни, среброгрудая, веки свои,
Ты будешь в раю предаваться любви,
Спи... Спи... нежной птахой скользя в небе сна...
— ПОШЕЛ БЫ ТЫ... —
Вскричала она.

И — вмиг — все очнулось от сонной тиши —
Вот что значит слово, когда от души!
— На плаху! — король возопил, — под топор!
...И — на фиг башка, и навеки позор!
Эх, мама имама! На что родила
Ты мудрого сына... Такие дела!

.

И вновь наступили тяжелые дни:
Ни бала тебе, ни святой суетни,
Никто не поет, не кричит, не свистит,
На пыльной луне паутина висит...
И слышно, как где-то, мучительно как! —
Прихлопнув блоху, матерится бедняк.

И как не понять всенародную боль?! —
Исчезли с прилавков и спички, и соль,
А мясо? А рыба? Да что говорить —
Читатель грядущего, дай закурить!
Кругом спекуляция, жуть, кабала,
Ой, где вы, варяги?!
Такие дела!

ВДРУГ

Чей-то высокий послышался глас!
Нет, то не Ильи грозовой тарантас,
Не хор, и не с гор побежали ручьи, —
Вздор, милый читатель, — уж лучше молчи!
И не революция... Пьянка? Да нет —
То Сашка Абрамьев — бродячий поэт!

Когда-то он был с нищетой незнаком,
Когда-то он был королевским шутом,
Но — бают в трактирах — в опалу попал
За то, что... стихи королеве читал...
И вот он, пропившись, бесцельно бредет
И песню скабрезным фальцетом поет:

— О кружечка пива! Отрада моя!
Любил ли тебя кто так страстно, как я?
На утренней — чтоб ей подохнуть — заре —
В апреле и в мае, то бишь в сентябре —
От счастья балдея, печаль затая,
Тянулся к тебе я, о кружка моя!

Пивал я, бывало, такое вино! —
Лишь богу таким захмеляться дано!
Бурду из Бордо, кахетинское тож —
Выплескивал в гордые морды вельмож,
В бокалы с шикарным шампанским плюя —
Твоим оставался, о кружка моя!

А ныне... Глухая настала пора:
Прогнали властителя дум со двора,
Певца Афродиты! Томительных грез!
Ни девы, ни пива, лишь фига под нос!
Увы — не заложишь — тоскуй не тоскуй —
Бессмертную душу иль собственный глаз!

...Вот-вот наш Абрамьев собьется на плач,
Но видит — навстречу знакомый палач.
— Здорово! — объятья поэт распростер, —
Ну как — поголовье казненных растет?
О чем ходят слухи? Почему пастила?
И как вообще в королевстве дела?

— Ты что, озверел? Или, может, больной?
Где ты пропадал?
— То есть как где — в пивной!
— Указ-то слышал? В королевстве — беда!
Нейдет королеве ни сон, ни еда,
Забыла дела, исхудала, слегла,
В стране — скорбь и голод... Такие дела!

— Как?! — Сашка взревел, — что ты бредишь, нахал?
Как все разболтались, пока я бухал!
Моя королева! О боже, слегла!
Я — подданный, рыцарь, я верный слуга!
Моя королева! А что ж лекаря?
— Жиды, — ухмыльнулся палач, — в лагерях,

А прочие, плюнуv на клятву врача,
Давно уже дали, скоты, стрекача!
Два старца заморских, однако нашлись:
Пытались лечить, ворожили, тряслись...
Смотри: две башки со стены городской
Качаясь, взирают с бессмертной тоской!

— Вперед, во дворец!
Ни шагу назад! Дай мне силы, Творец!
Прощай же, заплочный! Отныне — я врач!
«Скорей, до свиданья, — подумал палач, —
А впрочем, к чему размышлять палачу?
Пойду-ка я лучше топор поточу...»

.

...А в древнем дворце — и страшна, и тошна —
Застряла громоздкая

тишина,

Не зная, куда себя деть от тоски,
Седой самодержец стирает носки,
Лежит — но не спит! — среди подушек жена,
И губы потухшие шепчут: «Хана...».

Хана, мой читатель! Ах, не передать...
Не надо, не надо, не надо рыдать!
Не плачь, ты ведь вроде бы не идиот:
Ведь ТАМ королева блаженство найдет!
Что ей эта жизнь? Суета, мишура, —
Не то что блаженство — совсем ни фига!

Лишь в смерти источник покоя и благ...
Но что это стража разводит бардак?!
Кто смеет орать?
Нацепляя парик,
Король вне себя выбегает на крик —
В сердцах, негодуя — подонки, скоты! —
Какого вы черта? —
Пардон, это ты?!

— Абрамьев?!

Ну да, это он, это он —
В сияньи залитых вином панталон,
И желтый под глазом синяк, как всегда...
— Дрянь! Сволочь! Иуда! Собачья елда!
Какого приплелся? Плетей захотел?
Эй, слуги, вяжи его! В третий отдел!

Но тут наш поэт, холуя отстраня,
Промолвил: «Светлейший, послушай меня!
Блажен, повелитель, твой праведный гнев,
Я — гнусный растлитель невиннейших дев,
Я — пьяница поплый... Но — дьявол возьми —
Дай слово сказать, а потом уж казни!

За дело попер ты меня со двора —
Еще раз «осанна», еще раз «ура!»
И вот я — злодей — подтянувши штаны,
Побрел по просторам родимой страны —
Из града во град, от села до села —
Как нищий бродяга... Такие дела!

Томил меня голод, хлестали ветра,
Представь: пил я в сутки не больше ведра!
Сколь выстрадал я и от жадных купчих,
И от вырезвителей хладных твоих...
Но все это муть, а первичная суть —
Не мог я никак — хоть ты тресни — уснуть!

Все ночи, как пугало, бдел... Отчего? —
Твое многомудрое видел чело!
Немилость твоя прогоняла мой сон.
Твердил я себе — негодяй, фармазон!
И так вот всегда — во любом во хмелю
Я «когито эрго» — ты понял — не сплю...

Бродил я, как филин, сто дней и ночей,
Родил три былины и семь «Одиссей»,
Все снадобья знахарей я испытал,
Сто семь академиков к черту послал,
Историю царства пытался читать —
И та не берет!
Ах, туды ж... виноват...

Но тут, когда вовсе растерян я был —
Младую крестьянку я вдруг полюбил:
Ядреная баба — мясиста, смугла!
«Толкнул» ей стишок и она мне дала
Такое лекарство — завал! Вельзевул!
Свершилось чудо — я мигом заснул!

— Да где ж эта стерва?! —
Взорвался монарх.
— Ах, Ваше Величество, скверно, но — ах! —
Хреновина вышла, о мука в груди...
Прибил я заразу: ты сам посуди —
Пока я храпел, как бухой бегемот —
Младую крестьянку лобзал...

— ИДИОТ!!!
Лекарство! О Боги! О час роковой!
— Король, что за хипиж? Лекарство со мной!
— Гони ж его мне, оборванец!
— Ну нет!
Нельзя извлекать это средство на свет,
И есть в нем секрет... Старина, не морочь голову —
Лишь я королеву сумею спасти!

От этаких слов — чуть не помер король.
Однако — не помер.
— Ну что же — изволь, —
Лечи! Но Указ ты, подлюга, усек? —
Полцарства возьмешь, коли женка уснет,
Но ежли не сможешь...
— Я знаю: топор,
И — на фиг башка, и навеки позор —

Закончил поэт.
— И еще, старина,
Для снадобья надо побольше вина!
Эх, батя, как вспомню, эх, знойная кровь!
Богиня! Крестьянка! Паскуда! Любовь!
О сладостный шепот! О трель соловья!
Короче — гони за вином холуя!

..Ну, дальше картина: судьбу матеря,
Три дюжих кретина — три богатыря —
Кряхтя, пять плетеных бутылей несут,
Гремит по паркету бокастый сосуд,
Затем выступает — суров, как прелат,
Абрамьев, напяливший белый халат.

И вот мы уже у заветной двери...
Мандраж, мой читатель! Заткнись и замри.
Однако поэт не испуган никак:
На бочку взлезает беспечный дурак —
Какой вдохновенный, торжественный вид! —
И — кепку сжимая — он речь говорит:

— Почтенный монарх! Дорогие друзья!
Святая меня ожидает стезя:
Лечить королеву — высокая роль!
Да сможет поэт, что не может король!
Куды там Гераклам? Легенда стара!
Я здесь, королева! Пора. И ура!

Да, милый читатель, пора, брат, пора,
Туда, где — ты помнишь — ни сна, ни фига,
Туда, где тоска — отвратительный зверь...
Но... Нас не пускают, но — заперта дверь,
Увы — сам Абрамьев вино заволок
И тотчас же дверь — на английский замок!

Да... Сам император остался торчать,
Под дверью, и злобно про мать бормотать,
И тут же охрана его и сенат,
Уставясь в газеты, министры сидят,
Жуется во рту палача пастила,
Как тягостно время! Такие дела...

Но время проходит — и час, и второй,
Ни звука не слышно за толстой стеной.
Палач взял секиру, и чтобы не спать, —
Стал «зайчиков» в глазки министрам пускать,
Во весь свой хлебальник зевает король...
Да, время проходит — и день, и второй...

День третий, день пятый уже настаёт,
Король все зевает, а время идет,
Зевает король — оглушительно, всласть,
День седьмой разверста монаршая пасть!
Отчаянно, дико, смертельно, дрожа —
Зевает владыка... Неделя прошла.

Устали жратву разносить повара...
Вторая неделя пошла! Ни фига
Не слышно, как прежде, за дверью тупой.
Читатель! Мы тоже зевает с тобой —
Зевает страна — королю в унисон:
Повальный, зевальный, мучительный стон...

Но вот — наконец! — на пятнадцатый день —
Запомни, историк — пятнадцатый день!
Со скрипом раскрылась проклятая дверь,
И в ней показался -- хоть верь, хоть не верь --
Такое не встретится и во сто лет —
В трусах по колено — иссохший скелет!

Король побледнел, отшатнулся, и вдруг —
Издав неприличный в отечестве звук,
Палач свой топор уронил на паркет,
Нагнулся за ним... А надменный скелет —
Под зад — исхудавшей ногой палача —
— Вина мне! --
И рухнул, костями грохоча...

И тотчас же слуги вломились, крича,
Чуть не растоптав государя-хрыча,
В покой королевы... И — стихли в момент.
Да... Это превыше поэм и легенд,
И шибче, чем дрыном по тыкве, чем спирт:
Представьте — больная — подумайте! — СПИТ!!!

На вздыбленном ложе — не вдоль — поперек!
Без всяких одежд и без всех задних ног,
Без памяти — спит: и куда ни взгляни —
Пустые бутылки, куски простыни.
Видачь, операция трудной была...
Сквозь тернии к звездам.
Такие дела!

.

Скелет восемь суток давал храпака...
Но вот его будит стальная рука:
— Абрамьев! Ты слышишь, голубчик, вставай!
Полцарством владей и лекарство давай!
— Какое лекарство? — бормочет пиит, —
Вина мне скорее! — и снова храпит.

Однако добился король своего:
Абрамьев проснулся.
— Вставай!
— Ну чего?!
— Лекарство!
— Пардон, — возмутился поэт, —
Нельзя извлекать это средство на свет!
А, впрочем, ступай к королеве, а там, —
Коль скажет она — моментально отдам!

...А что ж королева, что ликом бела?
Она восемь суток уже проспала,
Ей снится фата, говорящий олень,
И прочая бабская дребедень,
Стыдливый румянец на щечках лежит...
И робко ее государь тормозит:

— Роднуля! Прими мой горячий привет!
Проснись на секунду! Скажи, чтоб поэт
Отдал свое снадобье... — И — голубок,
Всегда будет сон твой — и свеж, и глубок...
Но тут, тихо ахнув, как львица страшна:
— ПОШЕЛ БЫ ТЫ... —
Вскричала она.

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО

Разоблачение Пигмалионова

Сквозь два ряда шарообразных
и как бы проволочных крон
снованье стоп-сигналов красных
на автостраде под уклон.
Сырая серость дней ненастных,
северо-западный циклон...

А в мастерской, хотя промокла
подветренная сторона,
холсты — как солнечные окна
и двери в лето, где Она
свой туалет осуществляла,
сушила волосы свои,
клубнику собирала и
по саду голая гуляла...

Чуть отошла дверная створка,
и дождик сеется на стол,
где в это время древожорка
закладывает новый ствол.
Едва торчит из шахты гузка
и струйкой сыплется труха...
Всю жизнь как норма перегрузка
и нет регламента труда!

Пигмалионов, сникший в кресле,
страдает, пальцами хрустя.
К чему его искусство, если
она не вышла из холста? —
не отодвинула рукою
на лоб свалившуюся прядь,
как и, с клубникой за щекою,
его не стала целовать...
Не потому, что не живая,
а вздорнейшее существо,
в сырую осень не желая,
к себе, в июль — зовет его!

Вздыхнула — и лукаво-кротки
глаза. А с грацией какой
от бабочки, боясь щекотки,
отмахивается рукой!..
Чтоб стать под старость скоморохом?..
Но время малое спустя,
он покоряется со вздохом
и раздевается пыхтя.

Стыдась остатков жизни низшей
с груди до низа живота,
он волосатую ножищей
переступает внутрь холста...

— Ау! Ты где, Пигмалионов? —
приятель входит без звонка
с авоськой, полною лимонов,
с портфелем, полным коньяка.
За ним, робея — пять девиц
с кульками, с ветками рябины...

Скандал! Отпрыгнув в глубь картины,
Пигмалионов рухнул ниц...

А развеселый однолеток,
все тот же, в славе и в чинах,
к холсту знакомому студенток
подвел — потрясть. И впал в столбняк.

— Лукавый фавн! Всегда секреты!
За это надо бы убить,
а я смотрю — и нечем крыть.
Ау, Пигмалионов, где ты? —

и, дымом трубочным обвит,
на кухню движется — оттуда
его могучий бас гудит
и резонирует посуда...

А девушка на картине катается по траве
в припадке безудержного веселья.
Побагровевший Пигмалионов осторожно выглядывает
из рамы. Досадливо отмахнувшись
от своего озорующего создания,
выскакивает из картины и бросается к одежде...

Покуда гость вскрывал сардинки
и откупоривал коньяк,
зашнуровать успел ботинки
и застегнуться кое-как...

А компания возвращается. Девушки несут
фарфоровые салатницы с закусками. У маэстро
в одной руке хрустальный букет из рюмок,
а в другой откупоренные бутылки. Он видит
Пигмалионова и широко улыбается.

— Да где же прятался ты, милый?
А я тут глянул и сомлел,
с такой — не спорь — бесовской силой
ты сам себя запечатлел! —

Остолбенело смотрит на холст. Одна из дев
роняет салатницу в виде лотоса. Слышится звук
мелодичный. Осколки, отливающие перламутром,
взлетают в воздух и застывают.

Пигмалионов густо краснеет.

А собственно, с чего краснеть?
Вот — гостя в свитере потертом
расположила натюрмортом
питье и снедь.
А мэтр ее, подобно дьякону,
гудящий в трубочном дыму,
тост поднимает за хозяйку
в пигмалионовском доме,
за ту, что с рюмочкой сидит
на травке — вровень с натюрмортом —
и краем глаза за полетом
лимонной бабочки
следит...

Летающая тарелка

Бульдозерист, ветфельдшер, плотник,
один ответственный работник,
Пигмалионов, конюх и
другие — словом, соль земли, —

едва стемнело, собрались
в сенном полупустом амбаре.
Три свечки празднично зажглись,
и засверкал на бочкотаре
импровизированный стол.
Поэт раскрыл журнальный том:
«Читайте! Тут о вас, о каждом!»
«Впрямь, удивительное — рядом:
литературные киты
и ты!» — Аплодисменты, клики,
свечей рембрандтовские блики
по перекрытию амбара.
И грянул хор, колебля свет:
«Ты живи, творя, сто лет,
соразмерно силе дара
прототипов с гонорара
угощающий поэт!»
Поэт: «Да я в огонь и в воду,
лишь бы любезным быть народу!»
Стаканы брякнули. Вдруг: «На-кось, —
сказал один из нас. — А закусь?»

Тут дверь амбара заскрипела,
открылась — и в амбар влетела
слегка гудящая, пылающая,
подобно светляку, Летающая
Тарелка — с синим ободком,
под розовеньким колпаком!
«Тарелка! Братцы, может, в ней
двенадцать порций винегрета?»
Вот подплыла тарелка эта
к свечам — и сделался бледней,
и тает розовый колпак,
и содержимое открылось:
оно сгущалось на глазах
и зеленело, пузырилось.
Материализуясь, Гость
на фосфорическом скелетике,
как виноградины на ветке,
организовывался в гроздь.
И наконец, как бы в зеленом
экране телевизионном,
внутри пузырька возник
подмигивающий мужик.

Гость: «Знайте! Существует неземная цивилизация плодовоовощная!

С тех самых пор, когда, под гром салютов, к восторгу жителей планеты Райский Сад, правительство из овощей и фруктов возглавил гениальный виноград, понятие «трудиться» позабылось, поскольку повсеместно, в основном, все, что растет, в закуску превратилось, а реки мы наполнили вином.

Лежи себе на солнышке у речки, пей лежа или встав на четвереньки.

У вас такой валялся бы как куль, у нас он с песней меж ветвей порхает, а флора наша неба достигает, поскольку притяженье — чуть не нуль.

И наконец общественное мнение у нас в едином фокусе сошлось: а не пора ль остановить мгновенье?»

Поэт: «И это тоже удалось?»

Гость: «Гляньте на часы!» Взглянули — удивились: стоят часы! А он: «Часы остановились, вы думаете, да? Не напрягайте зренья, часы тут ни при чем — остановилось время, отныне ваша жизнь не улетает дымом.

Как там у классика: «Нет, весь я не умру...»

Об истинном бессмертии, не мнимом я речь веду. Желаящих — беру!

И пусть поэт, присутствующий здесь, не обольщается, что он умрет не весь!»

Поэт обиделся: «Нет, весь я не умру!

Запрограммированный в генах, я повторюсь в иных коленах!

Я раскусил — кричит — твою игру!

Сгинь! Да, что мы умрем — предрешено, но мы убеждены бесповоротно:

все, что прекрасно — в муках рождено, и выстрадано все, что благородно!

А в зоопарке вашем пресловутом...»

Бульдозерист: «Зря споришь с этим фруктом!»

И тут завгар вмешался: «Надо ж, чтобы у нас случилась с закусью беда...

Прошу прощенья, лично вы — съедобны?»

И Гость ответил обреченно: «Да...»

...Хорош был виноград от туда!..

Кто преднамеренный Иуда
иль легкомысленный болтун,
виновный, что симпозиум
застукала жена поэта?
Она сказала: «Что же это?
Хорош! А вы, его друзья!..
Тарелка наша или чья?..»

Белая телка

Разумные доводы при дурачке
сто раз привели безо всякого толку —
и вспомнили сказку о белом бычке.
А что вам известно про белую телку?

Во мгле ее влажных, мерцающих глаз
прочитывались и печаль, и довольство.
Теперь неизвестно, кто первый из нас
за ней заподозрил волшебное свойство.

Она, если ждет нас безветренный зной,
идет первой в стаде, подчеркнуто бодро,
а ежели вёдро, но с ветром — второй,
и третьей — когда и осадки, и вёдро.

Но если за стадом последней идет
волшебная белая телка — мы дружно
уверены в том, что ненастье нас ждет,
и метеосводку нам слушать не нужно...

...«Слышь, стадо? Сынок, побеге, погляди,
чего там?» Минута — и мы представляем,
что ждет нас, и дома плащи оставляем, —
ведь белая телка идет впереди.

Догнав пастуха, говорю пастуху,
попутную с ним коротая дорогу,
что луг, если нету коров на лугу,
в душе у меня вызывает тревогу.

«Известное дело!» — пастух говорит.
И, как звероящер, над дымною кучей

земли — экскаватор рычит. Луг изрыт
и проволокой ограничен колючей.

Прощаемся. Белая телка вокруг нас
в росистой траве оставляет дорожки
галопом, галопом — и, оборотясь,
игриво склоняет бодливые рожки.

Простившись, к протоке идем. У моста
садимся в лодчонку. Почти без усилий
плывем по течению меж утренних лилий.
Мальчишка оглядывается: «Красота!..»

Зимой же — что далеко не пустяк
при фактах взаимного непониманья —
с мальчишкой сближаемся мы, вспоминая
про белую телку, про то еще, как

топтался у двери сарая — и вдруг,
просунувшись в лаз, что для кур пропилили,
стал, вторя несущке в сарае, петух
безумно кудахтать — сочувствовал? или?..

И лилии, и заполошный петух,
и белая телка с Глубокой протоки...
...А в мае письмо присылает пастух.
Узнал, разбирая небрежные строки,

что сена хватило до нынешних трав,
что паводок не причинил беспокойства,
но белая телка, коровую став,
утратила напрочь волшебные свойства;

что, только АЭС даст проектную мощь,
озера зимой замерзать перестанут,
что рыбы все меньше, что лилии вянут,
но всюду разросся невиданный хвощ...

А как же мальчишка? Ведь он убежден,
что ждет его сказка и нынешним летом...
Всю ночь проворочавшись, перед рассветом
уснул — и увидел диковинный сон.

В озерах горячих не стало лещей,
сгнила в духоте белоствольная роща.
Теперь, меж чудовищных, с ёлку, хвощей,
здесь папоротник древовидный разросся.

Дурманом болотным пахнуло в лицо,
и там, где туманное облако сдуто,
дымится луна на болоте — как будто
с наклейкой и сеткою трещин яйцо.

Луна затрещала, качнулась — из ней
вдруг выломился, с изумлением вижу,
и грузно в болотную плюхнулся жижу,
и взмыл на крылах перепончатых змей.

Скорлупки сомкнулись — и, словно со дна
отпущенный мяч, из туманного мрака
к поверхности некой взлетела луна
и белым сияньем прожекторным ярко

гряде осветила песчаную, где,
ее перекрыв, как хорошая елка,
хвощ рухнул — и мчится по этой гряде
от змея крылатого белая телка...

Воровство и покаяние

Синь сгущается в тьму над селом,
зазвучали сверчки понемножку.
Стало тошно сидеть за столом,
подошел к ледяному окошку.

И во мраке зеркальном стекла
отвернувшийся видит сиротка,
как, с оглядкой, родного сынка
и целует, и тискает тетка.

И, украдочной ласке не рад,
словно впрямь воровства соучастник,
весь-то сжался двоюродный брат,
однолесток его, одноклассник...

В доказательство, что не подлец,
что не с легких хлебов развратился,
дом за лето построил отец
и в другую семью возвратился.

Только въехали в новенький дом,
мать слегла — был тоскливо-упорным
вой собак по почам, а потом
зеркала занавесили черным...

Третьи сутки со дня похорон,
продан дом и уже заколочен...
Спать ложится и думает он:
«Все равно убегу среди ночи!..»

...Все равно ускользнул в темноте
и домчался до кладбища духом.
Звук невидимой в полуверсте
легковушки — как муха над ухом.

Повернула машина — кусты
зачернели по склону коряво,
выше — вспышками, слева направо,
зажигались и гасли кресты.

Холод непроницаемо темен,
только призрачно светит метель.
В пирамиде могильной — огромен
червяка дождевого туннель.

Тут, в ходу дождевого червя,
еле слышится вой непогоды.
Бесконечная шахта черна
и обметаны инеем своды.

И бежит он, уверенный в том,
что просторна — поместятся оба, —
будто проданный теткою дом,
освященная внутренность гроба...

Дом подземный свечами сверкал,
вой втянулся в утробу собакам,
рухнув, черные ткани с зеркал
в тень ползут и сливаются с мраком.

Тут и складень зеркальный тройной,
что сестру ее жадную тешит.
Мать подходит к нему со свечой
и садится, и волосы чешет.

Пламя вытянуло, повело
сквозняком — но откуда же дует?
Видит сына, хватает его
и целует, целует, целует...

И расслабился он, и уснул,
спит и чует, утробно-незрячий,
будто ветер горячий подул
и посыпался дождик горячий ..

И проснулся. Огнем голубым
лунный свет в занавесках бушует.
Тетка с плачем склонилась над ним
и целует, целует, целует...

Драма на пруду

Под солнцем, над котлом битумоварки
струенье зноя мрачного — а тут
просвеченные лиственные арки
подсвечивает, вспыхивая, пруд.

Свернула на зеленый косогор,
в объезд, машина, ярко вспыхнув лаком.
А вокруг двоих — и стужею и мраком
сгущается тяжелый разговор.

Так тяжела их встреча, так печальна,
что мрак ее, сопутствующий им,
объемлет их — как с битумного чана
скатившийся прозрачно-черный дым.

Заключены в прозрачно-черной сфере,
они повсюду сами по себе —
в пронизанном отвесным солнцем сквере
и в летней пестро-красочной толпе.

Сквозь этот мрак, сплоченный в сферу чудом,
видны глаза, сверкающие зло,
и звезды, испускаемые прудом,
как если бы сквозь дымное стекло.

Чадит, клокочет в чане черный вар.
Она — к садам, он — к станции рванется...
А посреди дорожки остается
теперь — пустой, прозрачно-черный шар.

И сей прозрачно-мрачный шар с проходу,
с пути беспечно-праздничных людей
скатил сквозняк на солнечную воду
и гонит вдаль — на белых лебедей.

Под взглядами нависших на барьере,
равно светлы на солнце и в тени,
плывут, заключены в лучистой сфере,
оконтуренной радужно, они.

И мрак плывет, и лебеди плывут.
Сплываются на глади шелковистой
прозрачно-черный шар и шар лучистый,
оконтуренный радужно — и тут

мрак уплотнился в угольную точку
и вытянулся в копотную нить,
и эту нить змеящуюся — в клочья
рвет, вспыхнув, ветер — не соединить!..

Любуемся, не мучаясь значеньем
той катастрофы, что произошла,
зеленовато-солнечным свеченьем
в тени полураскрытого крыла...

Ольга и великан

На песчаной косе, наметенной
древним стержнем, в цветущем саду
дом стоит среди поймы зеленой
от ближайших домов за версту.

По болотам — туда, где трамвай, —
между стариц тропинка петляет.
Хоть в чем мать родила загорай,
не увидит никто, не узнает.

В доме — мрак после солнечной мглы,
клонит в сон молодая истома.
Но пустоты прохладные дома
наполняются пеньем пчелы.

«Улетай на свободу, пчела!»
Распахнуло окно — с огорода
хлынул запах укропа и меда,
опьянела и платье сняла.

Так под вечер земля накалилась
и такую наваяла лень,
что уже не легла — повалилась
под цветущую яблоню в тень.

Сразу звуки земные смолкают.
Мрак беззвучный сгустился — и вдруг
вспыхнул празднично: ярко сверкают
незнакомые звезды вокруг.

Тут возникнули из пустоты
и чугунным могуществом грозным
затвердели скульптурно черты,
озаренные пламенем звездным.

Испугалась и крикнула. Крик
был беззвучен. Глядит она в близкий,
прежде словно бы виденный лик,
слышит голос томительно низкий:

«Скушно звезды гасить, зажигать
и следить, чтоб планеты вертелись!
И, бессмертные, мы разлетелись,
чтобы смертную жизнь отыскать.

Жди меня двадцать лет. Это миг —
двадцать лет, только миг, вот увидишь.
Что я прибыл — почувствуешь, выйдешь
в сад...» — и сгинул таинственный лик.

И очнулась она. Вкруг луны
тьма созвездиями разблесталась.
«Двадцать лет его жди! Я состарюсь!
Двадцать лет! Ничего себе sny...»

...Ах, по соснам в конце переулка,
вдоль их тонких стволов, поутру
лепестками отставшая шкурка
шевелится в лучах, на ветру.

Поднимается солнце навстречу,
веет медом безоблачный май.
«Я сегодня отлично отвечаю!» —
засмеялась и села в трамвай.

Смотрят люди: от девушки токи
счастья вспышками как бы идут!..
Впрямь ответила без подготовки.
Побежала в спортзал на батут...

Размышляя о дивной загадке,
что минувшая ночь задала,
подошла к баскетбольной площадке,
поглядела — и в землю вросла. —

Надвигается туча. И в ней —
воркотня долгожданных раскатов. —
На площадке один из гигантов —
тот, кто ночью пригрезился ей!

Это он! Подошла. Это он!
Но смущает такая подробность,
что в глазах его нежность и робость,
великан покраснел, он смущен.

Грозовой ослепительный свет
озаряет его — прочь, сомненье!
«Я его и ждала двадцать лет!..»

...Двадцать лет пролетело — мгновенье!

Для него все милее жена,
а она с ним все жестче и резче.
Не желает покинуть она
дом в саду на бугре в междуречье.

В доме за полночь праздничный гул,
как всегда в новогодние ночи.
И пускаются взрослые дочери
с молодыми мужьями в разгул.

Ее копия — младшая дочь
вдруг заскочит, прильнет виновато...
Собрались и умчались куда-то
продолжать сумасшедшую ночь...

За семейным столом муженек
был сегодня растроганно светел.
Что с ней делается — не заметил,
страшно ей, а ему невдомек.

Прошлой ночью — опять этот лик:
«Двадцать лет — лишь мгновенье, как видишь!
Что я прибыл — почувствуешь, выйдешь
в сад...» — и сгинул. Проснулась. В сквозных

занавесках — луна за окном
и дымит небывалая стужа.
Усмехнулась: «Как быть с моим сном
в эту пору?» Взглянула на мужа.

Ничего не случилось вчера.
Что теряла она год от году?
Ах, как пела когда-то пчела,
ею выпущенная на свободу!..

Хоть смертельно боится мышей,
писк услышав — не вздрогнула даже:
лунный свет на полу у трельяжа,
словно сцена — и мыши на ней.

С этой сцены, ловки и дружны,
отодвинули в тень ее тапки.
Человечьи передние лапки
розовеют в сиянье луны.

Пол как лед под ногой — ну да ладно.
Сняв рубаху, босая, идет
в лунный луч у зеркального складня,
на мышиную сцену встает.

Пробегают унылые мысли,
повторяются в трех зеркалах:
«Я состарилась — груди обвисли,
вены вон как торчат на ногах...»

...Он проснулся, разбуженный блеском
окош — в окнах с безумной луной
от стекла индевелого с треском
отделяется куст ледяной

и ветвится, и чудно сверкает,
и, ветвясь, заполняет жилье,
ледяные цветы выпускает!..
Где жена? Вот рубаха ее!

Где? Ведь холодно в доме чертовски!
Грузно топчется, ищет халат.
Под гигантом взволнованным доски
проседают и громко скрипят.

Стужа, лютая стужа на свете,
в кольцах радужных дышит луна.
Блещут заиндевелые ветви
груш и яблонь. Так где же она?

«Ольга!» — как бы от грохота грома,
иней с ябонь потек на сугроб.
Тут он — в зарослях, слева от дома, —
видит дымный светящийся столб.

И туда по скрипучему снегу
он бежит через сад напролом,
сокрушает кустарник с разбегу...
Да и замер с разинутым ртом.

Вот рассеивается и бледнеет
столб тумана, поднявшийся тут.
В дымном круге трава зеленеет,
пышно яблони, груши цветут!

Струи яркого лунного света
бьют сквозь яблоню в полном цвету,
и цветущая яблоня эта
ослепительную наготу

юной женщины, страшно знакомой,
осеняет — она на траве
разметалась, объята истомой.
На склоненных к ее голове,

на поникших цветах, погибая,
шевелются еще мотыльки.
Просветляется мгла голубая,
и обугливаются лепестки.

Прекращается действие чуда,
блекнет блеск красоты молодой,
на ногах проявились сосуды,
вспыхнул в локонах волос седой...

«Что с тобой?» — слава богу, не поздно
взять в охапку и к сердцу прижать!..
Крикнул, в высь запрокинувшись, грозно:
«Что ж ты бросил ее погибать?»

И лишились на миг доброты,
и могуществом тяжким чугунным
затвердели скульптурно черты,
озаренные пламенем лунным...

Олимпийские роды

Разламывается башка,
раскалывается — к чему бы?
Удельный вес у ней чугунный,
как минимум, наверняка.
Отражены оконной створкой,
во тьме, ветвями шевеля,
как будто вымытые с хлоркой,
сегодня пахнут тополя.
Невмоготу — трещит башка.
Что, увеличиваясь в росте,
жмет изнутри, а? — у виска
уже потрескивают кости.
Зовите доктора! Ослаб я!..

О как завидна доля бабья!
Сперва березе, нагишом

стоящей в струях ветра пресных,
два повреждения телесных
наносит юноша ножом.
Затем, с пастушкой пастушок,
обняв друг дружку и березу,
сосут, причмокивая, сок
и подвергаются наркозу...

И наступает миг, когда
мешает птичий фон восхода
прослушиванью живота,
как передаче с лунохода:
«Оно покамест недоносок,
а уж сердечко как набат —
большому колоколу в лад
настроившийся подголосок!..»
И плод, хотя и зреет в тайне,
режим диктует и меню...
Счастливцев! Признан на корню!..

...За что такое испытанье?
Гром! И разверзся мрак небес:
в лазури вижу пред собою
Олимп, тахту — на ней Зевес,
терзаясь головною болью,
держась за лоб, зовет: «Сынок,
Гефест!» А тот: «Чего, папаня?»
«Сынок, тащи-ка молоток!
Я пытками самокопанья
свое замучил божество!»
Гефест принес кувалду: «Во!
Подходит?» — «Да! Ты этой штукой
меня по темечку потюкай!»

Гефест, ударив: «Вспухла шишка!»
Зевес: «Да крепче вдарь, трусишка!»
И тут Гефест решил: «Эх!» —
и череп треснул, как орех.
Скорлупки вмиг сошлись на место.
А в головах стоит, блестя
волной волос золотых, дитя —
Зевеса дочь, сестра Гефеста!
Мир восхищен ее явленьем.
Блеск магния. Софитов свет.

Разглядывает с умилением
ее и говорит поэт:
«У ней глаза киноактрисы
косят, как кисточки у рыси!
И писает по бессектрисе!..»¹

Тут хлынул дождь, померкли выси.
Трещит башка — ну силы нет!..

...А поутру, едва спросонок,
уж нянчусь с образом: «Агу!»
И как бы стопочка пеленок,
лежит бумага на углу
стола...

Волшебный паром

Вдоль по пирсу гуляют себе вчетвером
поросенок с сигарой в зубах,
пес в охотничьей шляпе с фазаньим пером,
гусь в ермолке и кот в сапогах.
А под пенье фанфар и литавренный гром
пассажиры спешат на волшебный паром,
потому что в былое вернуться, назад,
уж кому куда надо, хотят.
Тетке с флягой молочной — той недалеко,
ей назад бы на сутки, когда молоко
не прокисло еще — чтобы свежий товар
отвезти на вчерашний базар.
Вслед за теткою с флягой взошли на паром
поросенок с сигарой в зубах,
пес в охотничьей шляпе с фазаньим пером,
гусь в ермолке и кот в сапогах.
И под пенье фанфар и литавренный гром
отплывает волшебный паром...

Вот и берег другой — а на пирсе-то сплошь
молодежь, молодежь, молодежь.
Здесь, в былом, звездный час ох какого жулья,
снова нужно всю жизнь дожидаться жилья,
потому молодой энергичный народ
хочет в старость свою возвратиться — вперед.

¹ Строки из разных стихотворений А. Вознесенского.

Громко тетка с молочной флягой кричит,
бьет по фляге ладонью — и фляга звучит,
заглушая оркестр, под ладонью литой
пустотой, пустотой, пустотой!

Угораздило бедную в прошлое, где,
сдав корову, сидела с детьми на воде...
И сошли — и вернулись назад на паром
поросенок с сигарой в зубах,
пес в охотничьей шляпе с фазаньим пером,
гусь в ермолке и кот в сапогах.
И под пенье фанфар и литавренный гром
отплывает волшебный паром...

Смерч

Ты от стола не отрывала глаз,
моя рука к твоей руке тянулась,
а кошка под столом почти метнулась
за мышкой в миг, когда втянуло нас

в воронку смерча. Светом голубым
она была наполнена. Разрежен
был воздух в ней, но оказался свежим
и легким для дыхания. Летим!

Стремительно вращаясь, мы неслись, —
мышь с кошкой, ты со мною, — постепенно
все больше разлетаясь врозь по стенам
воронки, расширяющейся ввысь.

Но вновь воронка сузилась. Уста
сближаются!.. «Чего же ты, глупышка,
перепугалась?» — «Мышь!» — и вправду, мышка
мчит в дюйме от кошачьего хвоста.

Тебя, меня и мышь, и кошку смерч,
промчав по небу, опускает тихо
в такой же сад, как тот, откуда лихо
всех нас похитил он, о том и речь.

Но ты и я, и мышь, и кошка — мы,
сюда перелетев по небосводу,
переменили вдруг свою природу,
как бы лишились изначальной тьмы.

Ты стала той, кого я на земле
искал всю жизнь — и больше не таилась,
что лишь по мне, каким я стал, томилась, —
и обрела уверенность в себе.

Глаза спешили все сказать глазам,
в миг истины в них возникала вспышка,
и, сидя на твоей ладони, мышка
поглаживала кошку по усам...

ГАРРИ ГОРДОН

«ДАГЕРРОТИПЫ»

Посвящение

От безнадежно пешего хождения
Околевают ноги в колее.
Автомобиль на лаковом крыле
Вперед мое уносит искаженье,
И выхлопную вонь пренебреженья
Вдохнув сполна на придорожном пне,
Подумал я о том глубоком дне,
Куда вернусь. То будет ночь рожденья.
Итак, я выхожу из колеи.
Пространства разноцветные слои
Окутали монетку циферблата.
Со мной мои (таи иль не таи)
Прорехи, дырки, пятна и заплаты —
Не стоит притворяться, все свои.

В парадном

Чернеют витражи
На лестничных площадках
В том доме, где я жил.
Подглядывавший в щелку
Мальчишка покружил
И вылетел в окно.
В том доме, где я жил,
Всегда было темно.
Я ободрал плечо
О гвоздь, нарочно вбитый.
А белый старичок,
До ужаса забытый,
Обнюхал и ушел,
Вздыхнув нехорошо.

Будильник

Будильник ровно отгремел,
И, глаз не открывая,
Я вижу лиц холодный мел
И дряблый бег трамвая.

Отчаянная немота
Меня в песок зароет.
Глаза открою, только рта
Не буду. Не открою.

А мама у окна стоит,
И, вглядываясь в крыши,
Спокойно что-то говорит,
И я ее не слышу.

Астрахань

Не было в мире друзей и знакомых.
Мамины руки и косы сестер,
Клювы и крылышки насекомых,
Первых укусов прозрачный костер.

Жидкая Астрахань в бежевом солнце,
Море шипит в раскаленных песках.
Папа в кальсонах стоит и смеется,
Белую рыбу держит в руках.

Привоз

Солнечный день пропадает зря.
Тяжелая авоська режет ладонь,
В усах у дядьки синий огонь,
Рядом желтые дыни горят.

Торгуется мама, очки надев,
Я, краснея, отвел глаза.
В грязной бочке, в теплой воде,
Пух плывет на всех парусах.

Держусь за стойку, чтоб не упасть,
Страшусь баклажанов, дынь и огня.
Какой-нибудь дядька меня продаст,
Какая-то женщина купит меня.

Уголь

Хлопают двери, ищется рубль.
Кофе стынет в чашке нарядной.
Ослепительный черный уголь
Выгружается возле парадной.

Берется у дворника лопата,
Из ведер вытряхиваются кошки,
На животе темные капли пота
Прокладывают розовые дорожки.

И едва машина отъедет,
Уляжется пыль, засверкает камень,
Вплотную придвинутся соседи,
Одобрительно цокая языками.

Косточка

Среди строительных отбросов
Цементный оседлав кулич,
Я косточку от абрикоса
Тру об украденный кирпич.

Растительной ракушки панцирь
Не поддается, но терпи,
Тоци свистульку, трогай пальцем,
И плюй в оранжевую пыль.

Кирпич на сантиметр источен,
В ресницы пот бежит со лба,
Теперь свисти до самой ночи,
Пока не задрожит губа.

Акация

Акация высокая растет,
Где я по целым дням сидел на ветке,
И, равнодушно поднимая веки,
Следил за мною полосатый кот.

И мама возле самого ствола
Звала меня, а видеть не могла
Сквозь плотный, тленный аромат акаций...
И что бы мне тогда не отозваться.

Во дворе

Во дворе палисадник зачах.
Рассыпается лодка на кирпичах.
Толстая женщина возле колонки
Рассерженно полоскает пеленки,
Платье разорвано выше коленки,
Я стараюсь не замечать.
Целый день во дворе торчать.
Сыграны игры, прочитаны книжки.
Женщина вытирает подмышки.
Я стараюсь не замечать.

Хлебная гавань

На корпусе, некогда белом,
Холодных ракушек нарост.
Вода приседает всем телом
И снова встает во весь рост.

Подводные светятся тени
Под суриком клепаных скал,
В прозрачных сосудах растений
Неоновый слабый накал.

Меня выволакивал ужас
На палубу ржавой баржи,
Где в жаркой коричневой луже
Разбухшие зернышки ржи.

После каникул

Там, где вчера загорали и плыли,
Камнями бомбили флот,
Чайка, закинув за спину крылья,
Ходит взад и вперед.

Чисто и тихо от мерного гула,
Полюнь, шевелясь, горчит.
Градом побило, ветром сдуло.
Палка в песке торчит.

Концерт

Солнце не сходит с неба,
И в белизне кромешной
Хлопья темного снега
С листьями вперемежку.

«Раскинулось море широко»...
Поет хмельной старикашка.
И вот из раскрытых окон
Летят медяшки в бумажках.

Соседки не очень метки,
И мы смущенно и быстро
Собираем монетки
И отдаем артисту.

Конфета

Поковырившись в чистом ухе,
Глаза на часики скосив,
Наш первый ученик Житухин
Меня конфетой угостил.

Она растаяла от пота
В моем смущенном кулаке...
Ах, пиджачок из шевиота,
Ах, перхоть на воротнике!

На перемене

По коридору туда и обратно.
Нет конца большой перемене.
В буфете шумно едят пельмени,
С маслом и уксусом, вероятно.

В углу первоклассники скользят,
Кто-то носом в землю зарылся.
Даже к окну подойти нельзя —
Там плачет учительница Крыса.

Один

Опущены темные шторы,
И заперты двери на ключ.
В тарелке зажег помидоры
Шуршащий пылинками луч.

За окнами блики и лужи,
Звенит, громыхает, рябит...
Наказан, или простужен.
А может быть, просто забыт.

Баня

Беседу, приблизившись лбами,
Родители тайно ведут.
На улице Княжеской баня.
Меня в эту баню ведут.

Там серые мыльные ключья,
Там шайка гремит об ушат,
Избавившись от оболочек,
Бесшумные папы кишат.

Ненастье

Слякоть на улице. В комнате мутной
Дымная сырость и липкий обед.
Кто так устроил, чтоб ежеминутно
Дверь открывалась сама по себе!

Громкие ведра застряли в проходе,
Лампа сочится, как кровь из десны.
Первая, робкая старость приходит,
Волосы гладит и горло теснит.

На пляже

Майского пляжа зыбкая свежесть,
Плавных купальщиц цветные очки,
Море дрожит, раздражает и режет
Перепуганные зрачки.

Что ж мне с этой свободой делать?
Ноги поджать и майку надеть,
Или свое голубое тело
Прятать, синяя, в холодной воде?

Керосин

Керосиновая бочка у ворот,
Керосиновая лошадь молча ждет.
Тот же самый незнакомый продавец,
Снисходительный и тихий, как мертвец,

Я легко поднял бидон и отошел,
Муха медная повисла над ковшом.
Банки, ведра и канистры не гремят.
Керосиновый снотворный аромат.

Каштан

В прохладных кронах день клубился
С шипеньем сельтерской воды.
Каштан сорвался с высоты
И возле ног остановился.

В сомнении почти болея,
Стою: поднять иль не поднять...
О, как он тяготит меня
Бесцельной красотой своею.

Ливень

Небо с утра зарастало дремой.
В сумерки стало еще тоскливей.
Что-то капнуло возле дома.
И внезапный отвесный ливень

Шумит, потрескивая, снизу вверх,
Свежий и серый, как будто пламя,
Застревая в густой траве
Пирамидальными тополями.

Я забрался под одеяло
И не смел обратить лица
В угол, где странная мягкость стояла
В затененном лице отца.

В праздник

Все дома, не о ком скучать.
Не надо бодрствовать упрямо
И переглядываться с мамой
На осторожный клев ключа.

Ненастный день второго мая,
Чай праздничный уже испит,
Уходит в угол стул, хромая,
И — тише, тише, — папа спит.

Старуха

Соседка, старая карга,
Меня рассматривает косо.
В ее груди поет орган,
В зубах белеет папироса.

Старуха пела за стеной,
Вздыхала шумно, хлеб глотая,
И смерть моя была со мной,
Еще такая молодая.

Весна

Ни зги, ни души на бульваре,
И глиняный берег размок,
Лишь капля в макушку ударит,
Да щелкнет далекий замок.

Да вскрикнет, капризно и звонко,
Буксир, подскочив на волне.
А дома все та же клеенка,
Все тот же пейзаж на стене.

Коптилка

Заправлена маслом коптилка,
Отец потянулся и лег,
И тени, ломаясь в затылке,
Пригнули к столу потолок.

И что-то на миг ослепило,
И стало понятно на миг,
Что все уже в точности было:
И этот лежащий старик,

И зыбкое пятнышко света,
И небо с зеленой луной,
И это чудовище где-то
Склонялось уже надо мной.

После грозы

В волнах озона кот изумленный
Замер и смутно копилкой белел.
Голос Шульженко темно-зеленый,
Ясные струи по черной земле.

Запах октавы, глубокой и чистой,
С привкусом сладким далекого ада.
Завтра опять ничего не случится.
Ну и не надо. Ну и не надо.

Теплый снег

А. К.

Поблескивает мрак за занавеской,
Ползет, вясь, по вымокшей коре.
И теплый снег, садовый, королевский.
Заносит отраженья фонарей

Относит прочь от камеры обскуры
Кругом, в обход недвижимой головы,
То белые, то черные фигуры, —
Дышать в затылок холодом живым,

Светлеет снег и колосится гуще,
Тьму затопила илистая мгла.
Запотевает, чей-то нос расплющив,
Прямоугольник чистого стекла.

Перед сном

Из сундука, комода и дивана
Достали необъятные постели.
Приподнятые локти завладели
Всей комнатой. Отец кричит из ванной.
Качнулся абажур. И бахрома теней
Растаскивает зренья по стене.
Морозное стекло, и лед на раме гладкий,
И мама морщит лоб,
И складки, складки...

Абажур

Скрипящих фонарей панический полет
По черному пальто, по мертвому киоску,
По краю неба, голого, как лед.
А между ставнями оставлена полоска.
Да вряд ли кому в голову придет,
Приблизившись, увидеть стол и скатерть,
И маму за столом в коричневом халате,
И неподвижный теплый абажур.
Я неизвестно где, я поздно прихожу.

Рассвет

Светлее стало и свежей
От дальнего гудка.
По стеклам верхних этажей
Поплыли облака.

Всю ночь оконный переплет
Бросал на стену тень,
Где мама валерьянку пьет,
Нашарив в темноте.

Я сунусь в темное окно
Повинной головой.
А дома спят давным-давно,
Не знают ничего...

ПАВЕЛ СОКОЛОВ

Примечание:

многочисленные (и на первый взгляд неоправданные) интервалы-пробелы между словами, строками, строфами — такая же важная часть смыслоформы, как рифма или ритм. Каждый их миллиметр необходим и выверен;

основная роль — создание белого пространства тишины

* * *

чере сотни лет
принесла книга

голос родной

* * *

лампа
комнату озаряет:

уголок мира.

* * *

и тяжести как не бывало

едва найдешь в книге
судьбу похожую

* * *

не могу друга застать...

как душа стосковалась
по разговору!

* * *

посреди памяти

в кресле
спит старуха
свесив голову

* * *

эи́ма
нескончаема

словно день тяжелый

и неизвестно
как жизнь
пройдет

* * *

серенькое небо дождит

а на душе легко

* * *

апельсинные корки
на черной земле

почему так долго смотрю

* * *

встретился
у палисадника

жасминный запах:

случайный
и вечный...

«Веранда»

на свет оранжевый

пробрался
сквозь кустарник:

а там — никого

* * *

Огни сотен домов
на том берегу, —

как вы прекрасны!

как страшны.

* * *

бескрайность
людского страдания —

во все стороны и времена!

представишь...

* * *

нечаянно муравья...

так и меня когда-нибудь

* * *

прихлопнул
моль —

и как всегда,
скорчилось что-то внутри...

* * *

котенок
нежный комочек

прижмусь лицом

как тепло
духовито

и хочется жить!

* * *

Ты приди ко мне
Боже приди
и о радости нечаянной расскажи
все о ней все о ней расскажи
лишь о ней лишь о ней расскажи
если слышишь меня Боже приди
мне о радости расскажи

Ты услышишь
Ты придешь
Ты расскажешь
Ты спасешь!

* * *

звезды
падают
души возносятся

а сердца
запираются в склеп

по пока что-то мерзнет и просится
мир огромен сияющ нелеп

ПОМОГИ
эту зиму отмаять
донести тусклый крест до холма
довольсь вязку дров от сарая
бедный смысл довести до ума

* * *

и тогда
чтоб ветер поднялся и застонали сосны
чтоб море вздыбилось и заалела кровь
чтоб сердце остановилось

я выдумал тебя
моя печаль

* * *

тот мальчик розовый и сладкий
светящийся как будто он

где обрывались смех и прятки
над бездной высился канон

кому-то нужен
с кем-то дружен
незамечаем
на виду

ты ждешь меня

а я по лужам
в безумных валенках бреду

* * *

мячик катится красно-синий
зажглась звезда

лицо ребенка в сумерках
кажется задумчивым и грустным

каждый вечер катится мяч
каждый вечер смотрю
и не могу насмотреться

* * *

нежная
музыка радио

напомнила

кто подарил мне

эту плюшевую собачонку

* * *

ты удержи припомни расскажи
ту мысль мелодию короткий поцелуй
сошедшие неведомо откуда
случайны и летучи словно

морская предрасветная прохлада
на верхней полке общего вагона
что без разъездов станций
стучит который день через страну
черемухи гречихи чепухи

* * *

я играл камешками на берегу моря
и вдруг увидел такой — что сразу понял:
это я!

а рядом, конечно, мама:

братишки, сестренки нет у меня, а два этих вот
подошли бы... возьму с собой,

огромный — прадедушка, не очень-то поиграешь
с ним, а малюсенькие: мои будущие дети!

кто же — все остальные...

Яблокопад

Ночью был сильный ветер —
налетел он с шелестом, и из сада слышалось:
тук, тук!.. чук! Иногда раздавалось — «бам-бам-бах!»—
это о ни впрыгивали на низенькое крыльцо и бухались
в дверь.

А утром у порога: словно кто принес в сумке и высы-
пал! И на тропинке, и в траве на каждом шагу, будто
целый мешок раскидали. Но голову поднимешь — вроде,
как были, так и висят, а то и еще прибавилось...

И все время: «тук, чук, чук!»

Еще недавно

Утром пошел первый снег.

Я выбежал, взял прутик и нарисовал
пароход, волны:
поплывет он по белому морю,
а дальше желто-багряной рекой листьев,
а после — через море зеленое
к синему! — где мы были недавно.

Волны раскачивали пароходик,
заливали, и вот он исчез.

Я стал рисовать опять
и почему-то бросил...

Снег

* * *

у раскрытого окна

жди утренних птиц

и обретешь
истину и блаженство

и потеряешь
тут же

Кошки-мышки

Стоят на столе три вербные ветки.
Падают с них, когда заденешь, сережки-шишечки.
Интересные, положишь на ладонь: невесомые и словно
теплые — мышки!

Любят они играть в «мышки-кошки» и меня пригла-
шают: заберутся куда-нибудь под книгу, а я ищу. Есть
у нас и настоящая кошечка, сиамская притом. Серьез-
ная, а повеселиться не прочь: лапку вытянет, цап-цап! —
мыши врассыпную. И до того с ними сдружилась, на
день расстаться не могут.

Однажды отнес мышат друзьям показать, так они в
гостях будто и не живые.

И киска загрустила.

* * *

жизнь проходит

но еще не прошла
показался последний вагон
побежать и вскочить на подножку

а в окне улыбается кто-то
и машет рукой

* * *

цветы
заоблачную
пахнут чистотой:

напоминаньем о разлуке,

встречей...

* * *

закатный
свет

на стволе сосны и листьях клена —

напоминает

о радости
безначальной!

БОРИС ЕВСЕЕВ

Конец июля. Вечер. Блок...

В. Д. Гаврилову

Прочтите Блока мне, захлеб и нестепенно,
Слепите шаг его из гулкой пустоты,
Пуститесь вплавь за гибнущею тенью
По коридорам сна и слепоты.

Возьмите жезл его! Не по руке? Отбросьте!
Примерьте мысль его, спешите вить и ткать
И раздевать серебряною горстью
Ее слегка морозящую скань.

Составьте плот из хаоса и лени,
Нарушите сон, хоть наложением линз, —
Что-нибудь сделайте! Ведь он все еще пленник
Глухих кладовок и сырых темниц

Нашего разума. Прочтите же мне Блока,
Его строка, как дальней сечи звук,
Пусть трепет в нас родит, порыв, испуг,
Пусть громом рушит словоблудий круг
И лижет тело огнищем пророка.

2

Я в молодости Блока променял
На мокрый чубчик, сладенький финал,
На жалкий вой, цыганщину и скрипку,
На пестрый шелк и две пластинки с хрипом.

Я обходил его как только мог,
Скрывал приязнь и вычищал свой слог,
И уплывал, плоть голоса натужа,
К ненужным высям и неблизким душам.

Но ход вещей вернул меня назад,
К истоку снов, сомнений и утрат,
К призраку дома, к темноте, к провалу
За этим домом, к роще как попало...

И страшно заступить мне за порог.
Вдруг все ушли, хозяин занемог,
Вдруг жить устал в чаду обид и грусти,
И за стеной лишь пепел, тлея да брусья,
Обрушившие звездный потолок?

3

Как ангел, что отпал от Бога,
Как речка, бросившая русло,
Зима ломилась к нам с порога
В три сотни крыл, с пальбой и хрустом.

«Пустите, говорила, гляньте,
Как я нечесана, несчастна,
Как тяжела мне ткань проклятья,
Сжигающего ежечасно.

О люди! Я сейчас мгновенно
Ваш дом раскину, век разрушу,
Все умыслы рассею пеной
И вытрясу пустую душу.

Откройте, в камышах нет места
Мне и моей судьбине сирой.
Открой же! Или из обреза
Я разнесу твой череп сизый,

Открой, открой, разлей все скорби,
Пусти слепую кровь из вены,
Завейся сном, ссыхайся корнем,
Уйди скорей, уйди со света...»

Но я читал в ту зиму Блока,
И между строчек смысл мне вышел:
«Не верь пустопорожним склокам.
Не отворяй подземным стокам.
Не дай увлечь себя бесовкам...»

Я не открыл. И чудом выжил.

Олух царя небесного
 В глиняном райском саду
 Плачет о грешной невесте,
 Сгинувшей в страшном аду.

Все не сладки ему пляски,
 Песни и выщелки птиц
 И пообрыдли все ласки
 Розовоперстых денниц.

Просит он высших слезно
 Свергнуть его с небес,
 Скинуть на черные плесы
 И на луга, что окрест.

Но отвечают сурово:
 «Спи, дурачок, не тужи,
 Плоть твоя в прах измололась,
 Жилы скрутились в жгуты
 И на невестино тело
 Мороком серым и белым
 Сыплются, днесь, с высоты.

Хочешь, возьми отступного,
 Хочешь, над миром цари...»
 И отвечает им олух:
 «Как перед смертью — любви,
 Хочу наесться земли».

Здесь подошла полурота
 Рано притекшая в рай,
 Неслуха и пророка
 Наземь свезла под ура.

И был порешен он на первом,
 На первом же перекрестке,
 Грубым обшарпан ветром,
 Красной заляпан известкой,

И всласть успел нахлестаться
 Нового дыма и яда,
 И принял смерть со страстью,
 И снова взят был на небо...

И вновь плачет медленной песней,
Звездный смущая газ,
Олух царя небесного,
Жить не умевший среди нас,

Плачет о сирой России,
Бьющейся малым чижом,
Под перерезанной синью
И над смердящим ножом.

5

Выпью горечи со дна
Почерневшего стакана.
Жизнью стану полон я.
Смертью стану полон я.
Равновесье это странно,
Не-сравнимо, пре-желанно
И не хочет забыться..

Плещется на донце муть,
Пляшут ведьмы, пилигримы,
Всходят и тускнеют нимбы,
Серебрится кокон нимфы,
И нагая мощь долины
Мертвым сном и рыком львиным
Распрямляется дохнуть.

Отразим в бокале люд,
Сумрак, выюга, город зимний,
Кровь и лимфа отразимы
И чудовищно-бессильный
Мир горбатый, тучный, сивый,
Рваным ртом, причмоком ссыльным
С десяти сосущий блюд.

Ходят рублища в заре,
Допытанья и расстрелы,
Воры, революционеры,
Пролетают хлопья серы,
И чумной старик Растреллий
По куску сплавляет тело
Жадной до камней зиме.

В хмарь вкипели каблучком
Идеалы и химеры,
Воплотившиеся феи
Бьют их в темя револьвером...
Все нечисто, все неверно,
И дымится ночь каверной,
И в трухе лежит ничком.

Так ужели же не пить
Этой гущи темноструйной,
Этой чуши рукосуйной?
Строчку эту расписную
Неужели же не вить?

Выпью ж, выпью всласть со дна
Почерневшего стакана.
Жизнью стану полон я.
Смертью стану полон я.
Или чем-то третьим — странно
Избегающим пространства,
Веса, плоти, бытия...

6

Прислушайся мы 66 лет назад
К последней строчке
Чудной его поэмы,
Кто знает, как бы повернулась жизнь?
Кто знает, как бы закипели соли,
Ключи забили, руды заблестали?
Но мы в своем кровавом раже
Дошли только до слов:
«...В белом венчике из роз...»

И все.
И дальше:
Трах-бах — над головою венчик,
Чих-пых — второй.
Трах-бах — седьмой, восьмой, тридцатый,
Десятитысячный, мильонный...

Венчик в небе, голова в кустах,
Рука в грязи, сердце в трухе дорожной,
На мерзлых комьях мозг...

Ай да потеха!
Ну забава!
Всего трех слов не досчитались,
А смотри-ка,
Как шею каждый сам себе свернул.
И так и ходим.

Что же впереди?
«Так на затылке нету глаз».
Что позади?
«Так ведь ослепнешь
Перекрутись назад глядеть!»

Ну то-то, други,
Будете вперед
Этих помешанных, тифозных, малахольных
Мудроплетов и поэтов
Вы слушать да послушивать,
Да и помалкивать,
Да муть с души, да копоть с пальцев,
Да мед с усов, да гарь с курка
Сдувать...

7

Страшно, Страшно и темно.
Карандаш подымешь — больно.
Мелкий сумрак, храп невольный
Бьются крыльями в окно.

Пьешь и медлишь. Пьешь шумы,
Медлишь над чужой строкою,
Как бы над самим собою,
Наглотавшимся чумы.

Жизни всей не переждать.
Исступленья бес измучил.
И уже с тяжелой кручи
Напрямяются опять

Темнота и страх, и лень.
И тяжелая короста
Покрывает тело монстра,
Шелест губок, стук колен...

Но прорвется высота,
И двойным серпом над ночью
Встанут в дымке божьи очи
В каждом тонущем, промокнушем,
В каждом спящем, нищем, тощем,
В каждом сиром и непрочном
Вновь творящие Христа.

8

Воздух пахнет расплатой и гнилью.
Холод тычется в кромки лесов.
В тех лесах жить сирены могли бы,
Покидая подводный свой кров.

Черной тушью помечу их крылья,
Алым маком — головок наклон...
Но встают не сирены, а Сирин,
В тяжком мареве гибнущей шири
Нарастающий, словно гром.

Он сплотил нетленное тело
И влачит свои строки, как плащ,
Залепляющий выпушкой белой
Нашу слепость и детский наш плач.

И, прельщая нас тайной небесной,
В стиховой облакает покров,
И к единственной нудит нас песне,
И сечет непоющего в кровь...

Жизнь простейшая — не требует славы
Жестких ритмов и рифмы с листвою,
И не хочет вместить в свои лавы
Разум, ясность, любовь и покой.

Жизнь начальная — не требует слова,
Но потребует платы вперед,
Этой сутью предосуществленной
Этим духом в обертке каленой,
К высшим жизням и снам переход.

И над тем переходом дымучим,
Словно горней страны исполин,

Встретит звук нас протяжно-певучий,
Звук невиданно-грозно-могучий,
Встретит звук нас, и светом измучит,
И огнем животворным спалит...

9

Я успокоюсь над листом.
Соблазны мира грянут мимо
Я у себя. Жизнь пухнет глиной —
Вновь сотворенной, слабой, дымной —
И звезды плачут на лицо.

Я успокоюсь над Землей,
Над певчими ее холмами,
Над арфами ее обманов,
Взятыми плавно, чередой.

Земля в таких же швах, следах,
Как лист мой черно-золотистый,
И прочитать ее со смыслом
Чуда удел, а не труда.

И все ж стяжения узлов,
Наметки, линии, детали,
Летели, мучили, читались
Одной и той же связкой слов:

«Конец июля. Дым. Леса.
Цепи озер — как цепь сравнений.
Строфа — как бы Россия в гневе,
С рекою неба в волосах.

Конец июля. Вечер. Блок.
Конец июля. Возвращенье
К истоку мира, к воскресенью
Того, что стало тленом, зернью,
Общим пайком, гниющей чернью
На белых крыльях воплощенья
Бессмертных образов и строк».

Назавтра записи найду
И ужаснуюсь тому, что в спехе
Я написал. Я был лишь вехой
Чужих, необъяснимых дум.

И будут ждать меня в садах
Непонимание и скука,
И целый день, томимый мукой,
Я буду дымом пропадать,
Пока опять не вступит темь
И кто-то грозный и лукавый
Не станет мои строки править,
Не выльет в них туги, отравы,
Не понесет кусочки тем
К иным путям и переправам,
В чудной и страшной густоте
К бесшумно рвущейся звезде,
К живой неуголимой славе,
Горящей розою в кресте...

* * *

Я пою, как убитый в лесу,
И свечусь, как зарытый в песке,
Выправляя свой яростный слух
По своей охлаждающей тоске.

А тоскую я, словно пугач,
И летаю я, будто сова,
Острым крылышком — легок, незряч —
Мертвых тел разводя острова.

И про то, как лететь мне, как стыть
И как губы в тоске разлеплять,
Я прочел меж двух елей косых,
Где набухшая бьется петля...

Повторяй же словесный мой шум,
Мой свирепый и преданный враг:
«Мир заходит, как разум за ум,
Кровью вырванной плещет в овраг...

И поют прах и прах, кость и кость,
И, сквозь зимнюю выюгу страны,
Чуешь вьявь, словно связанный гость,
Как хозяин острит топоры...»

* * *

Вечный свет горит в окне.
Вечно музыка летает.
Словно бабочка в тепле.
И еще до звука — тает.

Вечный свет в окне твоём.
За чуть влажным перекрестьем
Проплывает забытье
С млеющим бессмертьем вместе.

Горький профиль и весна.
Дрожь и шаль в косую клетку.
Ночь хлестнет тебя, как ветка—
Вроссыпь, щекотно, нерезко —
Выше скрытого соска.

Вековая теплота.
Шелест крыл насеребрённых.
И как боль течет с креста,
Как струится с губ вода,
Свет течет непрекращённый,
Отворенный навсегда.

* * *

Собаки, соловьи и дым над сизой речкой.
Рябая слепота, плывущая в глаза,
И **тяжкий** в горле ком, не осложнённый речью,
Не расфасованный на сны и голоса.

Вот это наш рассвет. Еще прибавить только
Мою нерасторопь, сомненья и слезу,
Уже застывшую колючей, мелкой солью
Впивающейся в ранки, словно суть.

Собаки, соловьи. И дым, как дух, летает...
И рифмой не помочь, никак не закрепить
Событий и времен скользящую нить,
И разве только кто-то прочитает:

«Любовь, рябой рассвет, собаки, соловьи,
Вот это—наша жизнь, ни больше и ни меньше.
Любовь, любовь, вино и ад, и ад крошечный...»

* * *

Я испугался простоты,
Внезапно глянувшей меж строчек:
Как будто во поле кресты,
Холм, свет, тепло, дальняя роща —

И больше ничего. И я,
Бесплотный, по пустому полю,
Как по стезе небытия,
Ступаю, плача в голос, вволю,

Ступаю, плачу и, как дождь,
Внезапно, каждой каплей, знаю:
Я сам — лишь образ чьих-то грез,
Я сам — лишь отблеск дальних гроз,
Я сам — одно лишь поминанье
О смутном мире слов и слез.

Давняя песня

О, как нам давалась
Поэзия с болью:
Парады, усталость,
Бессолье, бездолье.

И мы все бежали
В бурьян придорожный
И гибли, и вяли,
И шли без дрожи.

И перышки стачивали,
И судьбы ломали,
И нас наши старшие,
Как вшей, презирали.

А ночью вздохнул
Наши вирши терзали,
И плакал ли кто?
Я не видел... не знаю...

А бестолочь дня
Свои ноты вопила,
Впиваясь, маня,
Обжираясь чернилом.

И точные рифмы,
Как символ стагнаций,
Свистели над миром
В пучках ассигнаций.

И ямб золотушный
Блистал, как значок,
И в темных клетушках
Колол нам зрачок...

Так выпьем же снова
И снова нальем,
подавимся словом
и в шепот споем:

Мы жили, мы были
И вот наши трупы
На кой-то отрыли
Для почестей грубых.

А тех, кто не умер,
Кого не убили,
Лозьем привалили
К цветущей могиле,

Чтоб, мучась, следили,
Как темечком бритым
Толкают другие
Планету с орбиты...

Чуть пепельный рассвет.
Артист оркестра спит.
По сутолоке вен
Восходит жгучий спирт.
В рассоле борода,
В черешнях простыня.
Он спит как никогда
И не увидит дня.

Он так и не расчел,
Что мед ему, что сахар,
Томится под плечом
Нечитанный Кортасар,
Свеча на поставце
И Моцарт на стене,
И Моцартова цепь
Легка ему во сне.

А так — все ерунда,
И пропит сизый ромб,
И все, что вечер даст,
Глощают 'ночь и порт.
А я все с ним ношусь
И ем с ним, и умру
Под бисерную чушь
Бродяги-арнаута...

Вопит, бушует жизнь,
Как ресторан субботний,
Когда он трезвый, чистый,
Слегка расставив ноги,
Не открывая глаз,
Доглатывает боль
Последних, лучших фраз
Оборванных трубой
Прощающейся. Дым
Завис крестом в окне,
Нет сил себя судить
И вздумать под конец,
Что музыка одно
Лишь бешенство погонь
За вынутым окном,
За выпитой Луной...

Ночная дура спит.
Слепой поденщик мертв.
Душа, словно транзит,
Уходит через рот.
А из кровавых лент,
Сверкая, как дракон,
Ей жалко воевт вслед
Альтовый саксофон...

Баллада на «нет»

Нет печали, нет разлуки,
Чести нет и нет бессмертья.
Нет ни радости, ни муки
Перед тем как режут сети.

Не о чем спросить сороку,
Незачем ловить неверный
Звук и отзвук через строчку:
Резкий, тающий, манерный.

Неоткуда возвратиться
К пелене своих обманов,
К рощам птичьих пятистиший,
Соловьиных запинаний.

Нет для Блока утоленья,
Пастернаку нет опоры,
И дрожат в садах амфоры
Полные смолы и тлена.

Негде чистоте приткнуться,
Негде лечь строкой бессонной,
Чтобы враз не захлебнуться
В говоре пустом и черном.

У свечи нет возгоранья,
У свободы — осязанья,
Не помощник острый нож
Снам любви... и все ж, и все ж:

Никогда не надышаться
Этим «не» из мягких всхлипов,

Этим призраком ненастья
Шелестящим в пьяных липах,
Этим счастьем наизнанку,
Этим кованым замочком
На литой копилке знаний,
Полной веских многоточий...

* * *

У Моцарта болели пальцы.
От Моцарта сбегали пассии.
Над ним разламывались массы
Дождей, лугов, грозы, лавин.
«Горел за поймами овин,
Плыл гром, и сумрак нисходил
На дом, на ров, на водослив,
На серые, сухие пальцы».

Так день протек, так ночь прошла,
А утром черного козла
На площадь привели, и чисто
Заныло горлышко флейтиста,
И липа, выронив язык,
Плеснула им, «как плещет бык
В жару за озером». И тут-то
Ему привиделось, что будто
На битом льду оркестр сидит,
Дрожит костер, звезда дымит
И фраки рвет иезуит,
Выскивая дирижера —
«Пройдоху, скандалиста, тлю!»
К тому ж еретика и вора,
Скрывающего много лет
Не то корнет, не то спинет
Св. Доминика. Тьму
Здесь развело. Не по всему
Так вот и кончится. Всему —
Конец. Конец всему.
Конец всему, но все к тому,
Что в тихом зальцбургском доме
У Моцарта сводило пальцы.
Ему не удавались танцы
По чистой рисовой бумаге,

И на одном и том же шаге
Прохватывала мысль, что смерть
Летит за ним, как ворох шерсти
За пастухом, что горько, трудно
Ходить у вечности в приבלудах
И что сломают впопыхах, —
Как жизнь ломает ход стиха
На выпрямке, на слабой доле —
Спираль его трезвучий школьных,
Что не спастись, что нужен плот,
Хотя какой там плот, ведь лед!
Что нужен кормщик, нужен флот,
Чтоб, разодравши мачтой рот,
Орать в сторожевом облете,
Перекрывая рокот вод:
«Ди цаубер,
Цауберфлете!»

Здесь обрывается список стихотворения,
Который я, нашедший его, хотел озаглавить
«Ди Цауберфлете», «Волшебная флейта»,
но не сделаю этого,
потому что Моцарт здесь еще жив, еще молод,
и я не знаю, найдет ли он свою волшебную флейту...

• • *

Буйволица толчет молодую Луну,
Держит ночь навесную чудес пелену,
Опускается сон, и сжимается твердь,
И вода подымается тихо, как зверь.

Недалече до Крыма. Сейчас бы прилечь,
Охладить бы ступни, сбить окалину с плеч,
Но ступает все тверже и тверже слепой
И за ним поводырь с перебитой рукой.

Невтерпеж молодому тычки старика,
И припрятанный нож часто блещет впотьмах,
Но в последние миги кто-то властно, умело
Прижимает тот нож к одежонке и к телу.

Так и ходят вдвоем. Где спуют, где соврут,
Где с колхозной бахчи по «туману» сведут,
И, ослабившись, пьют смоляную шипучку
На пустых остановках, в бурьяне трескучем.

Ну, а жизнь все черствеет, горчает, как лук,
Закипают свинцовые пастбища лун,
И приблизилась ночь, когда связь их порвется,
Неожиданно, зло, до обидного просто...

А пока в мелкой яме, в соломе, пока
Спят две голи пропащие, два костяка,
Спит скопление таинств, сомнений и войн
С неизвестно куда отошедшей душой.

Танец короткой жизни

Гудит и ломится помост,
День волочит свой жалкий хвост,
И мрет в базарной жиже
Танец короткой жизни.

Танцует недовитый хмель,
В сквозящем платье гниль и цвель,
Танцовщицей Завета
Пересекая лето.

Ее зовут Ля Бель Амур,
Я видел сам ее сквозь смурь
Плавающих ресторанов
И цирков полудранных.

Ее смотрели в лагерях,
В ГК при запертых дверях,
Сквозь черные завесы
Полуулыбок тесных.

Горел, горел мой смертный час,
Когда она плыла, светясь,
И меж столами висла
Плоть быстротечной жизни.

— Во чешет, лагерница, вошь! —
Орали силачи и нож
В пустой салат роняли
И с нею жен равняли.

— Холуйка, дура, прекрати! —
Визжали женщины, и шли
К ней, заступая косо,
И обрывали косы.

Она тогда не умерла,
Сошла к воде, ревя, пила
И начинала снова
Танец любви и крова.

А смерть стояла за углом,
С тяжелой гирькой, со свистком
И подвывала тихо
В такт бедности и лиху.

Смерть! Смерть! О смерть! Взгляни ж сквозь сад
На то, как лепестки летят,
На то, как нет надежды,
Как тлеет ком одежды

И как дрожит в тоске слепой
Твой образ, смерть, твоя любовь,
Одетая на тризне,
На этой жадной крутизне,
На карнавальном этом сне,
Лишь в танец краткой жизни.

* * *

Я, отче, поливальщик ада,
По вторникам, по четвергам,
К иссохшим пястям и стопам.
К вопящим в землю деревьям
Меня ведет по тропам спадным.

Я поливальщик, сучий писчик,
Со шлангом, бьющимся в руке,
Завис, как месяц на крюке,

Над беготней слепой и нищей,
Чуть блещущей в сухой реке.

Я, отче, плакальщик безладыя.
С погоста, тихого, как сон,
По зверю, птице, мору, грому,
По лозняку и ледолому —
Веду кровавой пеной глаза.

Таким к тебе я и вернусь:
В слезах любви и в клочьях серы,
Орущим что есть сил без меры...
И возвращение не смертью,
А единеньем назову.

И в завершающем стихе,
Перекромсав ему все жилы,
Открою сладость тайной жизни
В золе, в песке, в раю грачином...
Чтоб новый бог, бог темной ризы,
Бог приходящей укоризны,
Чтоб новый бог не правил тризны
По сладостной моей поре.

Итак, я поливальщик. Мне
Сливать в одно отца и Бога,
И разделять, и рану трогать,
И ждать поры, и плыть во мгле,
Пока идет туман из лога
И цвет тревожится в коре,
В пустом и мертвом сентябре,
В безлиственное время года.

• • ■

Валяем дурака
Под трепетную тенью,
Под ледяной персидскую сиренью,
Под слезною Поклонною горой.

Нам год — что грош, и не в новинку дрожь:
На сбитой скатерти посвечивает нож,
Луч и чеснок, две блузки, вилка, брошь
И прочее, все то, что есть весной.

Сбегают козочки, их держат козолупы.
Блистают спины все, и сладостно, и грубо
Дрожат над осыпью налившиеся клубни
Чумного воздуха, свинца и табака.

А по нему проходят облака,
Похожие на кованые перья.
С них набегали пена и веселье,
Сады, века, водоворотов пенье.
С них может набежать беспамятство и смрад,
Ненарождение, некрасота, и Марс
Пройдет, гремя, через посты земные,
Несуществующие, тихие, пустые,
Лишенные разметок и оград...

О, наши дни! О, мир свинцово-синий!

Как спринтер, мягко вытолкнутый в спину,
Он и хотел бы увернуть назад,
Налево, в сторону, куда-нибудь, хоть в ад!
Да свинчен руль и не хватает силы
Ни отклониться, ни осмыслить циклы,
Ни закричать, ни разлепить глаза...

МАРИЯ ХОДАКОВА

* * *

Когда романтизма уходит пора,
на месте его остается дыра,
а так как природа не терпит пустот,
какая-то снова пора настает.
Для тех, кто глядит уходящему вслед,
другого, наверное, выхода нет,
как только вдогонку ему посмотреть,
как только о старом по-новому спеть,
как только о новом по-новому спеть.
«Да-да, — вы подхватите, — главное — спеть!»
«Важнее всего, — вы продолжите, — сметь».
Еще вы добавите: «Важно успеть».
А я вам скажу, что важнее — терпеть.
Кто там выступает, умерьте свой пыл
на четверть, а сможете если — на треть.
Ведь, кажется, Чехов еще говорил,
что самое главное — это терпеть.
Вернее, не Чехов о том говорил,
но в чеховской «Чайке» дается понять,
что мало гореть и что мало пылать,
но самое главное — это терпеть.
А если уж Чехов о том говорил,
то, значит, он все же не зря говорил,
не в белой горячке, не в пьяном бреду,
и что-то при этом имел он в виду.
(И что-то при этом имел он виду!)

* * *

Который там раз, уж, наверное, сотый
в чечетке прошлись надо мною ботинки.
С утра за стеной задыхался Высоцкий,
а после соседи сдавали бутылки.
Я ночь не спала, и дела мои плохи,
клопы моей кровью упились во мраке,
потом прискакали веселые блохи

с приветом ко мне от соседской собаки.
Хозяйка собаки — вся в импортной раме,
и крестик смиренный на выпуклом бюсте,
а дверь отворит — полумрак, как во храме:
хрустально мерцают подвески на люстре.
Я фортку рвану, чтоб глотнуть кислорода,
пригубив который, про все забывают:
там, как никогда, пасторальна природа
и пенсионеры козла забывают.
Давайте ж обнимемся с вами, как братья,
оставим занятия и выйдем из дому!
...Помойка меня принимает в объятия,
и ласточка режет меня по живому.

Закат в городе

В окне я вижу противоположный дом.
Над домом, в небе тускло-голубом
летят то ли вороны, то ли галки,
крича, словно соседи в коммуналке,
упругий воздух разбивая лбом.
Закат древней, чем люди и чем птицы,
чем крупноблочных зданий единицы,
чем голые деревья за окном.
Деревья гнутся — значит, ветер дует,
зажглось окошко с пунктуальностью звезды:
там, в майке, в джинсах — он. Ее целует.
Она меж тем колдует у плиты.
Но, видимо, для счастья есть причина,
и для всего причина есть в любви,
ведь женщина чуть-чуть древней мужчины,
и разница живет в его крови.
Он счастлив, хоть его зарплата — мизер;
поужинав, он включит телевизор
и ляжет на диван, но не для сна.
Потом к нему придет его жена,
чтоб вместе с ним смотреть программу «Время»
и сообща нести переживаний бремя.
И, отвернувшись, словно Бог, от них,
над всей планетой я зайдусь от плача.
Диван древней, чем телепередача,
и в высоту удобен для двоих.

* * *

Не то я просила, не то и не так,
а то, что не купишь на медный пятак,
на ломаный грош, —
то, что дается задаром, за так,
за здорово живешь.
Не то я просила, не то и не так,
о чем не проведает всякий дурак,
хоть он и добрейший при том человек.
На миг я просила, но лучше — навек.
Обвесили и обсчитали? Ну что ж, бога ради!
И без того книга жалоб сродни Илиаде.
Не буду скандалить, не буду шуметь,
поскольку ведь все это надо уметь,
Завернут товар, и наколот мой чек.
Не то я просила, не так, и навек.

* * *

Голуби захлопают в ладоши,
приглашая к полету.
Первым возьмет воробей
верную ноту,
и от этой высокой сквозной
волны звуковой
воздух качнется
(радость еще не началась,
но вот-вот начнется).
Самолетик раскинул руки,
и душа разнежилась в теле,
долго тают в его сверхзвуке
реактивные канители;
слышен голос его шмелиный,
низкий, бархатный и медвяный —
блаженный, туманный,
от небесных брожений пьяный.
Вот и утро. Окно открыто.
Мирно дрыхнет властитель Крита.
...Но все-таки
первым возьмет воробей
верную ноту

и поведет за собой
все воробьиное войско
(Были когда-то и у тебя
крылья из воска).

Сентиментальная баллада

Мне раз один знакомый говорил,
ему его любимая сказала
(она еще его женой не стала,
как умерла), а он не позабыл:
«Я б умерла, чтоб ты меня любил,
поскольку любят не живых, а мертвых;
живые к жизни рвутся что есть сил,
гуляют в тряпках жутких и немодных,
они полны стремлений благородных
и в том похожи на слепых котят;
без голоса споют и без вины простят,
и мягким мясом их обвит костяк,
в отличие от тех, кто спит в могилах,
к тому же вечно от тебя хотят
как раз того, что ты им дать не в силах.
Но все-таки, чтоб ты меня любил,
поскольку ты отнюдь не некрофил,
я быть хочу не мертвой, а живую
и не лежать средь всяческих могил,
а в дом тащить кошелку со жратвою,
и быть с тобой как чаши на весах
(ведь мы с тобой сравнимы лишь с весами),
и утром в темно-голубых кругах
нести остаток ночи под глазами.
Я так хочу любить тебя уметь
и над твоими книгами умнеть,
чтоб, возвышая бытие над бытом,
счет не вести просчетам и обидам,
но лишь победам над небытием».
Так мне знакомый говорил. Зачем,
и что он этим объяснить старался?
Он не попал в дурдом и с жизнью не расстался.
Женился. В метростроевцы подался
из инженеров, чтоб поближе — к ней.
И ныне, как Орфей среди теней,

рабочую неделю за неделей
он тянет свой тоннель среди камней, корней —
туда... (Кто знает, что в конце тоннелей?)

Спящий ребенок

Спящий ребенок похож на всех спящих детей
и, выражаясь языком обэриутов,
он состоит из множества частей,
как древний Рим из Церарей и Брутов.
Спят мамины глаза и папин рот,
и спят разбросанные как попало руки, ноги.
В нерукотворном, в нем вовеки не умрет
дед с бабкой и т. д., и многие, и многие.
В нем спорят сотни разных голосов,
словно в полифоническом романе;
в нем два цветных набора хромосом
слились в один, как Юлия и Ромео.
Так, посреди всемирного разора,
посудных черепков и прочей пыли
ребенок спит, как яблочко раздора
(его между собой не поделили).
Ребенок спит, и словно лезвием бритвы
невидимой, так симметрично он раздвоен:
двое стоят — за левым плечом и за правым,
покуда спит он, раскинувшись, как воин
и как поле битвы.

* * *

Кареты «скорой помощи» —
стремительные скорости:
ноль-три накрутишь — будут через час,
без опоздания.
Кареты «скорой помощи»,
как вы шныряли в полночи,
кошачьим светом, наугад!
И покачивались тихо
с чемоданчиком крещеным
безмятежная врачиха
и терпеливый, словно ангел,
обаятельный медбрат.

Он втыкал в меня иголку,
зевая втихомолку,
и железною рукою
запястье мне сжимал.
О легкокрылые мои,
мои печальные!
Стоит вас лишь кликнуть,
стоит лишь позвать вас —
я знаю, вы ко мне примчитесь
в предпоследний и в последний раз.
Как выстрел, хлопнет дверца,
и оборвется сердце,
немного будет жестко,
и будет вся загвоздка:
куда меня везете?
куда меня везете?
И будет свет качаться,
дорога не кончаться —
налево и направо,
направо и налево,
а я — что королева.

Девушка миддл-класса

Окидывая витрины и прилавки
взглядом, пронизательным, словно лазер,
обмениваясь профессиональными репликами
типа «классный топ» или «фирмовый блайзер»,
свободное от работы время вы проводите в очередях,
нервничая, сколько осталось и чего и какого размера.
Ваше движение приобрело небывалый размах,
история не видала еще столь героического примера!
Милые создания,
полные
энергии, передавшейся генетически
от предков, пахавших в поле, —
героев поэмы Некрасова,
вцепившись в сумочки, прикидывая:
зарплата на следующей неделе,
умирая от духоты и буквально падая с ног,
вы мужественно приближаетесь к заветной цели,
пределу своих мечтаний, апофеозу снов.
В оттенке цвета, покрое рукава,

силуэте туфельки —
мечты о счастье,
и тот, кто видел ваши муки творчества,
ни за что не сказал бы, что вы мешанки.
Когда-нибудь, когда я стану толстой и седой,
я скажу о вас так, мои подруги, сверстницы,
девушки миддл-класса:
«Вы прожили жизнь в погоне за красотой,
и вы настигли ее,
и это было прекрасно».

* * *

Не позволяй лениться подсознанию,
тяни его на свет из глубины,
когда кейфуешь, лежа на диване,
иль просто спишь, при этом видя сны;
когда спросонок ничего не знаешь
и, обжигаясь, наспех чай глотаешь
и в туалете забываешь свет;
когда, свое в троллейбус втиснув тело,
как в мясорубку мясо для котлет,
на поручне висишь ты онемело, —
не позволяй ему лениться, нет!
Пускай оно дистанцию пробега
от дома до работы завершит,
пускай над ним довлеет супер-эго,
пускай начальство над душой стоит...
Не позволяй лениться подсознанию,
когда с работы ты ползешь едва,
когда гудит, как улей, голова, —
и вот тогда, по воле волшебства
в тебе такое выстроится зданье,
само собой, как будто мирозданье,
себя явив из антивещества!

Песенка про друзей и родных

Одна подруга в монастырь
ушла. Другая вышла замуж
и родила. Звонок от друга:
«Да знаешь, все работа, все дела...»

А те глядят, глядят друг в друга,
как будто в зеркала.

А у сестры опять развод,
а у другой наоборот:
к ней бывший муж пришел обратно,
совсем не тот, и год не пьет.
И так себе дела у брата.
И — хор племянников поет!

Отец и мать еще скрипят,
полдня клюют, полночи спят,
глотают горькие лекарства,
а дед и бабка в глубине
лежат себе на самом дне,
окончив долгие мытарства
(Все, как положено родне).

Ах, это просто колдовство:
всего лишь пристальней взглядеться, —
и видно жизни естество.
Из вас я многих знаю с детства.
Какое кровное соседство,
какое близкое родство!
Как тесно мы переплелись
как больно будет расторженье!
Вот так вот жизнь вращается в жизнь,
круговорот, коловращенье,
как тесно мы переплелись,
как чудно это совпаденье!

* * *

Однажды во сне
я своими глазами видала:
летели под облаками,
как на картине Шагала,
махая руками,
болтая ногами,
бабушка с сумкой,
мама с авоськой,
отец — с пустыми руками.

Наверное, так продолжалось веками,
и вечно летели под облаками
бабушки с сумками,
мамы с авоськами,
отцы — с пустыми руками.
А после пойдут конфетки,
а после пойдут десятки,
и больше не надо будет
на локти строчить заплатки,
не надо беречь колготки
и подъедать остатки.
И будут таким везеньем,
и будут таким весельем
походы по воскресеньям,
обеда по воскресеньям!
Я запомнила все,
я так ясно видела их —
с трудовыми руками,
с интеллигентными очками,
с подметками и каблуками —
бабушку с сумкой,
маму с авоськой,
отца — с пустыми руками.
И вдруг
я закричала: «Я с вами, я с вами!»
И услышала в ответ:
«Нет! Тебе — еще рано...»
Наверно, они улетали на юг,
в жаркие страны.

* * *

Говорят, что бывает и хуже.
Хоть бы кто-нибудь сильный помог!
Ни пальто не достанешь, ни мужа,
ни вина, ни осенних сапог.
Кто бы умный явился бы с Марса
или с более дальних планет
и привез бы мне рыбы и мяса
или хотя б марсианских котлет!
На запястьях — лиловые жилы.
То врачей не хватает, то книг
о красивой, об импортной жизни

В переводе на русский язык.
Я не стану искать, где получше,
я уже научилась прожить
от полочки до новой полочки
и пятерку займа не просить.
...Битый час на морозе стояла,
а троллейбус не слали за мной.
Я же все-таки не из металла!!!
И любимый женат на другой.

ЕЛЕНА ПЕЧЕРСКАЯ

ИМЕНЕМ ЛЮБВИ

Светлой памяти
Владимира Шленского
посвящаю

* * *

Дворы московские. Колодцы.
Подъезда́ черная дыра.
А кто-то плачет и смеется
на дне асфальтовом двора.

И, возвращаясь, отголоски
влетают прямо в окна к нам.
Так света узкие полосы
лежат у ног по вечерам.

Мы все сродни твоим деревьям,
Когда бегу я по делам,
мне хочется прильнуть с доверьем
к полуживым твоим стволам.

Стволам, заляпанным известкой...
И мой салют, и мой «сезам» —
все лишь тебе, скупой и жесткой
Москве, не верящей слезам.

* * *

Я родом из детства
Г. Шпаликов

Может, кто-то скажет: — Причуда! —
но я, правда, родом отсюда,
я из каменного гнезда,
и меня — от бульваров, скверов,
из кварталов чужих и серых
слишком властно тянет сюда;

на скамью, где с хрустом и вкусом
разгрызаются сушки с маком,
где ковром — тополиный пух,
в старый дворик, где голубь сизый
за пшеном слетает с карниза
и садится у ног старух.
Здесь в подъездах ютятся страхи,
пол в пыли и в семечном прахе,
зеленеет бутылок' ряд,
а в глубоких подвальных безднах —
силуэты трех неизвестных
там, где лампочки не горят.
Здесь в земле шевелятся клады:
серебро из-под шоколада
или фантики от конфет
и, осколком стекла накрытый,
в теплой, колкой пыли зарытый,
тихо дремлет чей-то «секрет».
Все по-прежнему, все похоже,
и меня — до дрожи по коже
в старый дворик тянет всегда...
Кто-то знаю, скажет: — Причуда! —
но я, правда, родом отсюда,
я из каменного гнезда.

* * *

Из нас не вытравить московские дворы:
ведь каждый шаг судьбы бесповоротен.
Из нас не вытравить подвальные миры
и вещей дух дубровских подворотен.

Над старым домом морозящий дождь
останется, и в памяти оставьте
следы исчезающих подошв
в горячем, не твердеющем асфальте.

И чей-то ломкий юношеский альт
несется вслед, ругаясь и взрослея...
Трава восходит к солнцу сквозь асфальт —
пусть жестче жести, но зато сильнее!

* * *

Ах, Арбат, мой Арбат,
ты мое отчество...

Б. Окуджава

Как на тебя темно глядят
иные лица испытые!
Ты декорация, Арбат,
а вовсе не лицо России.

Ты не горбат и не щербат,
ни оспинки и ни прививки,
пускай кругом — снятой обрат,
зато уж на Арбате — сливки.

Юнец, сосущий леденец,
воспитанный в тепле и холе,
бессмысленный, как бубенец,
пусть катится к арбатской школе.

В краях, где тополиный пух
и сизарей взлетают стаи,
где драк хмельных извечный дух,
иные дети подрастают.

Тот — хилый выкормыш теплиц,
Но не в пример силен и стоек
его ровесник — нищий принц
в районах свалок и помоек.

Ты сувенирами богат,
Но есть критерии другие.
Ты нам отнюдь не брат, Арбат.
И вовсе не лицо России.

* * *

Почему нельзя мизинцами сцепиться
и сказать, как в детстве, просто:
— Мир! —
и к киоску боком прислониться,
и лизать дымящийся пломбир,

и по доскам с кляксами известки,
по танцующим мосткам через канавы
убежать туда, где зло и жестко
лезут сквозь асфальт наружу травы?..

* * *

Опять на водосточном желобе
в размытых проблесках зари
сидят, на дождь уставясь, голуби —
нахохленные сизари.

Отвергнутые новостройками,
по городские исстари,
они кружатся над помойками
и метят двор и фонари.

Пусть это пасынки окраины,
зато навек — держу пари —
с Москвою кровной связью спаяны
родные с детства дцкари.

И эти трубы водосточные,
и скаты крыш, и пустыри,
в полдневный лязг и в тишь полночную
вам не покинуть, сизари!

* * *

Как это властно подступило!
не в четверть силы,
не вполсилы —
томясь во мне,
стуца снаружи:
задернутые ряской лужи,
коричневые кулачки ольхи
и мха зеленоватые штрихи,
и уши полусонных лопухов,
и души неродившихся стихов.

* * *

И за мной захлопнется дверь,
и уйдут и горечь, и спесь...
Неужели — тогда проверь! —
ничего не осядет здесь?

Так же станет мигать ночник,
будет голос шуршать впотьмах,
и останется черновик
с исправленьями на полях...

* * *

Говорю,
о тебе скорбя:
— В этом мире
мне без тебя
в тыщеликой толпе
пустынно...
Чтобы вновь тебя утвердить,
остается одно:
родить сына.

И мне чудится в полусне —
голос твой
отвечает мне:
— Пусть приходит в мир по весне,
чтобы отзвук любви
не вымер...
Возле устья большой реки
ты его —
всем льдам вопреки —
тем же именем нареки:
Владимир.

Геометрия Лобачевского

Существуют
две геометрии:
геометрия Эвклида,
геометрия Лобачевского.

Обычная жизнь
гечет по законам Эвклида,
и многие считают,
что этих законов
достаточно.
Но жизнь человеческого духа —
геометрия Лобачевского.
По законам
геометрии Эвклида
мы с тобою —
параллельные прямые:
ни единой общей точки,
нет надежды на пересечение,
мы с тобою
в разных плоскостях.
Но ведь есть
иная геометрия:
геометрия Лобачевского.

* * *

Снегопад утих
понемногу,
и в твою аллею
березы
мне указывают дорогу:
ветви их остры, как занозы.

День проходит,
кроткий, как инок...
Лишь одна из тысяч снежинок
вьется бабочкой белокрылой
над твоею зимней могилой.

* * *

Теплым тайнам
ты не прекословь:
так на землю
приходит Любовь,
так — сквозь стружки,
сквозь ворох трухи —

из-под спуда
выходят стихи,
так рождается
весенний ручей
в зимнем,
волчьем
молчаньи ночей.

* * *

Ребенок начинает говорить,
Трясет он слово,
словно бубенец,
во рту катает,
словно леденец...
Оно ведь бесконечно,
наконец,
он может новые слова творить!
Как можно громче —
крикнуть,
повторить...
Ребенок начинает говорить!

* * *

Как черны тротуары весной!
Воздух влажен, протяжен и прян...
Хищной птицей растет за спиной
остановленный башенный кран.

Просветленной лазури глоток,
птичий лепет весенней воды,
властный пульс набегающих строк,
темный шепот любви и беды.

* * *

Я знаю, что знала ребенком тебя,
и рядом шагал ты, траву теребя,
в стручок от акации грозно трубя...
Я знаю, что знала ребенком тебя.

И были на нас из сатина трусы,
и оба мы тайно боялись осы,
но каждый закрыть был другого готов...

Незло за калитками лаяли псы,
и сыпались мелкие капли росы,
и падали жгучие капли росы
со всех придорожных кустов.

* * *

...С надвинутыми низко облаками —
мне часто это небо станет сниться.
Хоть черный март был все еще заснежен,
ты был тогда — или казался — нежен...
Вот только воздух,
как в горах, разрежен,
и я пила его огромными глотками —
и не могла напиться.

* * *

Мы стояли над могилой
ввысь ушедшего поэта.
В сизых сумерках бродило
оборвавшееся лето.

Он нас больше не коснется
ни локтями, ни плечами...
Похороненное солнце
землю трогало лучами.

Но цветы поставил кто-то
не по вежливой привычке:
не было тогда ни фото,
ни ограды, ни таблички.

* * *

Это небо небытия
небывалой рекой струится,

Но взлетает земная птица
в это небо небытия.
Две судьбы —
твоя и моя —
на земле не сумели слиться.
То ли порванная страница,
то ли небо небытия.
Это небо небытия —
голубой глубины криница.
Явь и сны,
и тени, и лица —
в этом небе небытия.
Может, встретимся ты и я
в этом небе небытия?

* * *

Здесь, в военном городке,
дождь тихонько влез на крышу...
Я гадаю по руке —
и шершавый шепот слышу.

Может быть, хоть ты знаком —
двери настезь — сердце настезь! —
с этим бедным языком
человеческого счастья?

* * *

Идет гроза. Уже не плачется,
лишь кажется, что рядом где-то
быть может, за пригорком прячется
пока неведомое лето.

Но мчится вдаль, звеня и радуя,
самой же кажется — нелепо,
душа, расколота надвое,
как молнией — ночное небо.

Слишком пыльное пламя алых бегоний
и закат над землею — цветов багряней...
Были теплая тяжесть твоих ладоней
и железная сила твоих желаний.

Весь ты был устремленным в цель, словно выстрел,
и тебя встречая, в тысячный раз,
я ловила живые жадные искры
в глубине словно льдом подернутых глаз.

А сегодня костер лепестков пылает,
и становится сумрак сухим и пыльным.
Бьется голос — и ветром вдаль уплывает...
Тает солнце над низким холмом могильным.

Противоречия

Сначала восхищенно ахнут —
а следом возмущенно вздрогнут:
— Да, этот мир насквозь распахнут!
— Нет, он же наглухо застегнут! -

О ком-нибудь твердят: «Бессмертен»,
но сколько вывихов и ссадин...
— Да, этот мир к нам милосерден.
— Нет, этот мир к нам беспощаден.

В больнице

1

Белоснежных улиц лабиринт:
ведь метет поземка по земле...
Очень длинный белоснежный бинт
съежился на низеньком столе.

Ветром гонит снег и ветки гнет,
а потом становится темно:
зимних сумерек лиловый йод
льется сквозь закрытое окно.

Таю́т птицы в небе над Москвой,
светит запозда́лая звезда...
Мир живо́й.
Лишь сын мой неживо́й
и живым не будет никогда.

2

Подслеповатая звезда
у са́мсо́го окна палаты...
Мы в чем-то крепко виноваты,
и не обходит нас беда.
Подслеповатая звезда
глядит на снег,
на клочья ваты
да на больничные халаты,
на иглы, на пластинки льда...
Подслеповатая звезда,
живые души все крылаты
и вылетают из палаты...
Вот если б только знать, куда?

Монастырь

Настырный камень
И бесстыдная трава.
Правда — за семью замками,
Полустертые слова...
Все — в конце
и Все — в начале...
Время сонное, в пыли...
Здесь друг друга повстречали
Горечь неба,
Скорбь земли.

Апрель. Рождение

В смятении души прошел апрель,
Раскачиваясь в лужах полусонных.
Во льду чернеет почва, словно щель,
Скелеты веток, черных, оголенных...

Лег лоскутами съезжившийся снег,
Кривых ручьев угрюмые усмешки,
Осипший ветер и деревьев бег,
И стаи галок — словно головешки...

И в этот мир, как в галочий галдеж,
Сквозь талый снег, сквозь ледяную жижу,
Ребенок, ты, пройдя сквозь боль, войдешь,
И завтра я твое лицо увижу.

* * *

Как промыт дождем тротуар!
Не ищи возврата назад:
одинокество — дивный дар,
одинокество — долгий взгляд.

Шелест ветра и зов тропы,
приоткроет страницы книга...
Как лицо московской толпы,
одинокество многолико.

. * * *

Напряженному слуху однажды поверь —
и услышишь среди темноты,
как свирепые ветры врываются в дверь,
окна рвут и ломают цветы.

Ты напрасно не вторишь моей ворожке:
разрушая привычный уют,
это ветры в тебе,
это ветры в тебе,
те же самые ветры поют!

Урок алхимии

В глухой лощине, меж холмов горбатых,
где от былых костров — одна зола,
лохматая преемница Гекаты,
склонясь над колбой, варит зелье зла.

Над нею — черный плат беззвездной ночи,
Слетают с губ тяжелые слова:
колдунья заклинания бормочет
и новые в костер кладет дрова.

И вот, в ночную темноту уставясь,
подкладывает в варево она
то зависти желтеющую завязь,
то ненависти тайной семена...

Но синим паром вдрызг разносит колбу, ---
новорожденье самых страшных сил
со страшной силой ударяет по лбу
того, кто это зелье заварил!

Снимая грим

Ватным тампоном
стираю лицо,
которое почти срослось
с моим:
снимаю грим.
Медленно, с опаской,
стираю краску,
снимаю маску:
слой за слоем —
защитные слои...
Со страхом взглядываю в зеркало
на проступившие черты свои.
Как странно и больно
видеть свое лицо,
когда оно
уже ничем
не защищено!

ГАЛИНА ГОРДЕЕВА

ИЗ ЦИКЛА «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮГ»

Хронос

Теплым ядом, вечной отравой
Сушит губы соленый сок.
Ты всегда остаешься правым,
Празднословным, седым, лукавым,
Одаряющий болью бог.

Дом твой холоден, в горле жженье,
Дрожь идет с головы до пят,
Здесь, в тепле, иное брожение,
И по жилам вершит кружение
Жарко дышащий виноград.

Закружит, зальет и поглотит
Эта смесь волны и вина
Глину, скрытую в позолоте,
Обожженную чашу плоти,
Что тобой до краев полна.

Здесь пределы страсти и власти,
Здесь предел твоей правоты...
Не вмещающая южного счастья,
Разлетится чаша на части.
Вечно прав остаешься ты!

* * *

Я прошу, чтоб меня понимали буквально.
Если я говорю, что цветет мое сердце,
Это значит, что вправду увидеть можно
Лепестков очертанья и вкус медовый
Ощутить, языком прикоснувшись к телу.

Я прошу, чтоб меня понимали буквально.
Если я говорю, что душа крылата,

Это значит, что вправду увидеть можно
Гибкий стержень, сцепленье упругих ворсинок
И щекой ощутить щекотанье пуха.

Я прошу, чтоб меня понимали буквально.
Если я говорю, что свалился камень,
Это значит, что вправду увидеть можно
Эту серую глыбу в кровавых прожилках
На дороге ко мне. Не споткнись. Осторожно.

Суд Париса

1

Весь век прожить без лишнего куска,
Следить, как из-за ближнего леска,
Еще незнаваемо узка,
Бежит, вприпрыжку и взахлеб, река.
И видеть, как поэта иль стрелка
Подстерегает первая строка
Иль первая сорока... По тревоге,
Зверье и птица, уносите ноги,
Покуда мальчик не спустил курка!

2

Парис, найденыш, лакомка, вонзай
Покрепче зубы в яблочную мякоть!
Богини — что? Которой ни отдай,
Другие будут ссориться и плакать,
И бегать нагишом — а ну их к богу в рай!

3

Все ясно: выстрел — яблочко — уста...
Нарушен весь и всяческий устав,
Любую песнь свисти себе с листа!
Ну, а при чем здесь маленький троянец,
Сатир, свистулька, полудня посланец?
Весь век глядеть на сонный твой румянец...
Ш-ш... не буди... намаялся... устал.

* * *

Поднебесная, легковесная,
Клюв разинутый — простота! —
Пух цыплячий, душа безместная,
Подвесная скорлупка тесная,
Через пропасти — просто так
Уплываешь... Ау, кровиночка,
Между пальцев течешь — увы!
Как тебя называют иначе?
Пересмешкой, свистулькой рыночной
У всезнающих губ молвы.
Вперебой, вразнобой, разбойником,
Не английским рожком — угольником
(В горле — наискось, поперек!) —
Не вздохнуть, не заплакать — больно как!
Пролетев Москву до Сокольников,
Машет крылышком мотылек.

ИЗ ЦИКЛА «ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ»

Оригинальный жанр

От страха почти что горбата,
Продыmlленным легким дыша,
Без лонжи бежит по канату,
Традиции ради, душа.

Она ничего не умеет,
Тоски протече и родня,
И купол круглится над нею
Сверкающим черепом дня.

Стара для подобных okazji!..
И, кверху носочки задрав,
Сейчас она сверзится наземь —
Хрипунья, бродяжка, Пиаф.

* * *

В лифте грома,
Проскакивая этажи

Дождя, града, снега,
Я наконец добрался до крыши,
Имя которой — твердь.

Дальше — уже небеса.
Ведомственная квартира Бога.
Господи,
У тебя тоже перегорела проводка?
Коптящей свечою Марса
Ты освещаешь свое изголовье
И раскрытую книгу.
Отсюда я текста не вижу,
Но вижу мерцающий лоб
И игру расцветающих мышц
Вокруг сомкнутых губ.

Господи,
И холодно же у тебя тут,
На черной лестнице!!..

* * *

Я эту зиму не переживу.
Я клочьями выплевываю душу.
Вода и ветер мне ладони сушат.
Меня надежда мучит наяву.

Мне трудно жить. Мне сделались тесны
Границы тела. Мне нужна порука,
Что сбудется внезапная разлука
И стройный холод будущей весны.

Не верить в ежегодную молву
Нет у меня ни права, ни резона.
Но все же несомненно и бессонно —
Я эту зиму не переживу.

* * *

Свет восходящий и муки надежды,
Возглас ручья и цветок колеса...
Это — вчера. А сегодня, как прежде,
Хмуро на землю глядят небеса.

Март, равнодушный к навязанной теме,
Зимнею тяжестью лег на весы.
Все же слышна мне сквозь сырость и темень
Хрипящая флейта вчерашней весны.

* * *

Ручей — быстропоющая ветвь
Всемирного океана.
Укройся в моей тени!
Флейта — светлый побег
В сумрачной кроне оркестра.
Укройся в моей тени!
Голос — темная роза, цветущая
В лоне гортани.
Укройся в моей тени!
Сердце — набухшая почка
На бесшумном дереве легких.
Укройся в моей тени!

Мир — только тень золотая
От дерева Рая.

* * *

Бумажными устами шевельнул,
Бумажной грудью медленно вздохнул,
Бумажными очами поглядел,
Бумажным голосом зашелестел
И молвил так: «Огонь, вода и жук —
Мои враги. Но я — всеобщий друг.
Равно гожусь на правду и на ложь
И продаюсь за миллион и грош.
Я — только дух. Вы все — моя родня.
Слаба моя бумажная броня.
Из моего портрета, книгочей,
Сложи кораблик и пусти в ручей!
Пусть рассекает мой бумажный нос
Живые волны...»

Да полно, друг мой, знаешь ли ты сам,
Каким мы нынче верим чудесам,
В каком мы небе медленно парим,
Слова какие тихо говорим?

Слова, что мы твердим, звучат, как бред,
Как обещанье и заклятье бед,
Как бег ручья по выжженной земле,
Как просьба о любви в полночной мгле.

А кто нам отвечает, друг ты мой,
В дневной заботе и тоске ночной?
Кто шепотом, неслышным, как цветок,
Нам говорит: «Никто не одинок»?

А кто же нас, невидимый, как брат,
К себе зовет сквозь облака и град,
Зовет, и за руку берет, и вводит в дом,
Где будут вместе все и мы вдвоем...

Посвящение

Вы пишете о Пушкине опять?..

.....

Последняя река летит вдогонку
И жизнь ему легка, и песни звонки,
И так еще нестрашно умирать.

Взлетают капли — плещется фонтан.
И статуя в воде ладони мочит,
И волосы со лба откинуть хочет,
И так смешно, что это Дон Гуан.

С обритой безобразной головой,
Похожий на еврея или Блока,
Он вертит в пальцах чей-то русый локон...
Во тьме он схож с Минервиной совой,

Но слишком юн. Еще окно, свеча
И прочие мотивы и детали
Ему любовь сулят, а не печали.
И Эскулапом он зовет врача.

Он кварталон. Тогда подобных лиц
Немного было. Он глядит уродом
И, бронзовый, светлеет пред восходом
Светила вечного над тишиной столиц.

* * *

...И прелесть милой жизни.

А х м а т о в а

Подруга милая, кабак все тот же.

Б р о д с к и й

Мне твой приход заранее ужасен,
Дневное привиденье, призрак милый,
Подруга чистая, чей облик светел
И ясен так, что виден сквозь тебя
Все тот же мир, прекрасно неизменный.
И незачем тревожиться о нем.

Но пустота великая не дремлет.
И ты, дружок, — ты первое предвестье,
Ты щель в заборе, трещина в стене,
Просвет меж туч, прогалина в лесу,
Проталина в снегу...
И вот мой ужас:
Я все гляжу, не смея наглядеться.
Как сквозь тебя мой мир сияет дивно
В последний раз перед великой мглой.

Прогулка

Все грязное, ужасное и злое,
И все-таки прекрасное такое,
И все-таки чудесное такое,
 Что просто это нам не по плечу.
И вот мы закрываем рот ладонью,
И от себя веселый призрак гоним,
И говорим, что в гомоне вороньем

Нам слышится сплошное «не хочу».
И говорим, что, дескать, мы свободны,
И захотим, так будем благородны,
А пожелаем — станем неуютны
И тверди, и воде, и небесам.
И треплемся, что все-де в нашей воле,
Не надо ни алмаза нам, ни соли,
А чтобы нам не причиняли боли,
Ни компасу не верим, ни весам.
Мы говорим, что шерсть и мех излишни,
Но стыдно нам пред облаком и вишней,
Что так цветут и так белеют пышно,
А мы все стекленеем на ветру,
И спичку под ладонь, краснея, прячем,
И другу врем, и под окном маячим,
И говорим: не надо мне удачи.
И думаем: нет! весь я не умру.

* * *

И с победной песнью дикой...

Жуковский

Я живу, как хлещет жгут.
Все мои дороги святы.
По пятам за мной идут
Молодые супостаты.

Умираю, как кричат
В шесть утра на крыше галки.
На ладошке у врача
Отпечатались шпаргалки.

Я живу, как тает снег
Под ногами грязной кашей.
Словно каторжник, побег
Завершающий в Ла-Манше.

Желтый блеск моих седин
(Будущих, но тем не мене)
Лучше всех твоих картин
Служит знаком к перемене

Настроений и времен.
Я хочу, как ветер свищет.
Можно строить Илион
Лишь на прежнем пепелище.

* * *

С этим миром — на «вы», а хотелось — на «ты».
До сих пор не угасшее это хотенье
И томит, и гнетет, и рождает смятенье,
И душа проклиная свое отраженье —
Искаженные зеркалом мира черты.

На обмолвки, оплошки, ошибки — увы! —
Мы ссылаться не смеем — решение известно:
Выбирали мы сами и время, и место;
Наша воля была, чтоб так горько и тесно
Быть с врагом, и с любимым, и с Богом — на «вы».

Надпись на книге

Памяти Льва Алексеевича Шубина

...и дикой жалостью
к оставленной земле.
А х м а т о в а

О чем говорят они, встретясь в тиши
У райских ворот?
О том, что снега в январе хороши,
Что солнце печет;
О том, что не видно со здешних высот
Ни зги, ни души;
И хочешь — молчи, хоть всю жизнь напролет,
А хочешь — пиши;
О том, что и впрямь, коль не допили там,
Так тут — не дадут;
О том, как привольно по здешним местам
Растенья цветут...
И память земная уже не болит,
Не точит, не жжет...
Но голос доносится с дальней земли:
«О, что меня ждет?»

И видят они, что у нас впереди,
И знание о том,
Как льдина, у них застывает в груди,
Спекается в ком —
И молча уходят от райских дверей,
— Тоски не стерпев, —
Не к нам ли на землю? — апостол Андрей
И мученик Лев.

Выездная виза

У самого синего моря
Они жили...

Пушкин

1

Вот — ты хочешь уехать
и когда-то вернуться сюда.
Десять лет — это скоро,
а пятнадцать — уже никогда.
Значит, ты не приедешь,
пока я здесь буду жива,
Значит, больше тебя не увижу.
Это уже не слова.

2

Нам все равно с тобой не суждено
На этом свете встретиться. И то, что
Мы все же встретились — такое чудо,
Что большего не велено желать.
Вдобавок я не верю — вот беда! —
В загробный мир. И нет надежд на встречу
Потустороннюю...
А что мне сад эдемский?
Ведь я люблю в тебе не только душу,
Но этот жест, внимательный и легкий,
Но этих уст мгновенную усмешку,
Высокий голос и тревожный взгляд.
Мне — раньше выходить.
Ты проживешь,
Конечно, долго (можешь мне поверить).

И отпустит ее на волю,
И, не дождавшись ответа,
Ко мне, старухе, воротится.

5

Мой бедный птенец,
Выгоняют тебя из гнезда,
Где ты приютился с подругой своею,
Надеялся, что — навсегда...

Ты разве не знал
(Нет, наверное, ты позабыл),
Что всюду платить доведется Антею,
Куда б ты ни шел и ни плыл?

Мой названный брат,
Ты заплатишь скитаньями дань
За то, что любви пожелал и свободы.
Подругу печалью не рань,

Крылом заслони,
Неокрепшим крылом защити.
Пусть кажется ей, что лишь эти невзгоды
Вам будут трудны на пути.

Мой верный товарищ,
Свой дом на отвесной скале,
В пустыне ли знойной иль в чаще дремучей
Построишь — нигде на земле

Покоя не будет.
Ты сам это знаешь из тысячи книг.
Держись — не помогут ни счастье, ни случай
Тебе, мой двойник.

Над глубиью соленой, седой и могучей,
Туда, где гора не белеет за тучей,
Летишь ты — дорогой уже неминучей.

И слишком велик
Размах твоего молодого крыла!
Сдержи свою мощь, чтоб подруга могла
Бок о бок с тобою, не слишком измучась,
Лететь, разделяя орлиную участь.

А я лишь рукою взмахну вам вослед.
Тебе не вернуться — я знаю ответ.
Лети —
да во благо тебе
будет солнечный жар!..

Мой вечный Икар.

Стансы

1

Наверное, вы видите меня
Совсем ущербной, брошенной и нищей:
Чуждается отцовская родня,
От материнской — только пепелище.

2

Я не хозяйка в доме, не жена.
Ни золота, ни пышного наряда,
И плоть моя, когда обнажена,
Уж ничьего не затуманит взгляда.

3

Владею я одним лишь языком
(Хотя чужая речь зовет и манит).
И веры я не ведаю. Ничком
Лежит мой бедный разум. И не встанет.

4

Иль вот еще: во мне смешалась кровь
Народов, что друг друга презирают,
И потому — постой, не прекословь! —
Ни аду не достанусь я, ни раю.

5

Я человек без предков и корней,
Я лист сухой, я перекасти-поле...
Вы можете лишь пожалеть о ней
Или презреть ее... Никак не боле.

6

Все это — ложь. Три родины моих
Живут внутри меня в ладу и в мире.
А если хорошо взглядеться в них,
Окажется, что их уже четыре.

7

У вас одна столица. У меня —
Четыре их, невидимые глазу.
И в каждой сесть предложат у огня,
Везде приветят и узнают сразу.

8

Один мой дед — сапожник. Моисей.
Другой — Борис. Чуваш. Скрипач и пахарь.
Работали. Лелеяли детей.
И в срок недели смертную рубаху.

9

Мне Саломея бабкою была,
А тот, другой, — ни имени, ни лика
Никто не помнит. Юной умерла,
В степной деревне навидавшись лиха.

10

Чьи косы были гуще и пышней?
Чей звонче был и сладостнее голос?
И кто посмеет мерить, что страшней:
Пожар Варшавы или волжский голод?

11

Я не жена? Ну что ж, не суждено.
Я не хозяйка? Да. И не рабыня.
Богатства нет? И это все равно.
Души моей свобода — мне святыня.

12

Мне путь открыт в любые времена.
Я всех пойму, кого успею встретить.

Я на земле любые имена
Хочу произнести. И всем ответить.

13

Я никого отринуть не хочу:
Любая речь мне хороша и кстати,
Любой наряд мне мил и по плечу —
А вы мне о каком-то новом платье!..

14

Как Жанна д'Арк, я слышу голоса.
Вы слышите один. Я слышу много.
Я — перекрестье. Сразу в небеса
И в землю рвусь. Тяжка моя дорога.

15

Но пусть прямой хоть легче, да скучней —
Бесцельные, бессрочные усилья...
И мне не надо никаких корней —
У человека прежде были крылья.

16

На все четыре стороны гляжу.
Всех четырех стихий я слышу речи —
Что в смерти мне? Я с Пушкиным дружу.
Смотрите — вот: он зажигает свечи...

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

* * *

Я тайные слова свиваю
И, отключая слух и взгляд,
Я чёрный свитер надеваю,
Иду в потемках наугад

По лестницам и коридорам
Я в черном свитере твоём,
В том черном свитере, в котором
Спокойно, словно мы вдвоём.

Он точно шелковистый кокон,
Готовый прятать и хранить,
И ловит золото из окон
Его мерцающая нить.

На нем пыльца скупого Крыма
И копоть праздничной Невы,
Как будто тьма меня укрыла
Теплом крупитчатой канвы.

В нем задыхающейся речи
Неосторожные слова.
Как плащ кладу его на плечи,
Узлом связавши рукава.

Так мы одеждой поменялись.
Зажмурюсь я до черноты,
Чтоб никогда не поминались
Отныне розно я и ты.

Генетика

Так светло оттого, что ты женщина.
Недобитой природой завещано,
Чтоб в тебе, до поры невесом,
Русской муки невольным наследником

Выживал человек — исповедником,
Кровью знающим здесь обо всем.

Вот хранилище кода народного,
Вот источник стропливо-свободного
Генофонда усталой земли.
Из разграбленных дарохранительниц,
Кроме кротости сельских учительниц,
Ничего сохранить не смогли.

А в России от Грозного вроде как:
Имена убиенных — в синодиках.
Гнать и горбить, гноить мужиков!
Ночью — в страхе до пения курного,
Ты не видела неба лазурного,
Но спасла достоянье веков.

Отягченная проклятым семенем,
Чудным бременем, будущим временем,
Ты убийств одолела размах,
Ты генетикой все победившая,
Непокорных опять наплодившая,
Чтоб возрастали они в детдомах, —

Ремеслухой, в заморе, горбатыми,
За отцов-матерей виноватыми,
Но с чутьем, где агитка, где ложь,
Что не пачкались в сварах азартных,
Вновь родили детей нестандартных,
Чье сознание — на вечных опорах,
Обладателей лиц, из которых
Нет, не сделать бесчувственных рож.

* * *

Еще Герберштейн
поминал наш румянец и белость:
«Красны от рассола,
а белы — ржаною мукою».
Ах, кровь с молоком,
не давало здоровье покою,
Чуть водкой приморена
та неумная спелость.

Ты был, мой народ,
упоенно, доверчиво молод, —
Смотри фотографии
хоть бы двадцатого года:
Там голод,
но юных идей опьяняющий солгод
Живил эти зенки,
черты так отчетливо горды.

И все, что в тебе так достойно,
так трепетно было:
Застенчивость губ
и глаза с простодушною думой, —
Ужели забылось
в телесном, тряпичном обильи?
Черты вырожденья
в твоей ипостаси угрюмой...

Но я — слепотою,
биением астмы и страсти —
Твоя
(от ступней, уплощенных военным рахитом,
До прядей седых,
что и хна никак не закрасит),
Родная всему —
среди обтерханных листьев ракиты,
Как над котлованом,
над нашей судьбой нераскрытой.

К фотографии матери

Когда в колодце детского сознания
Появятся на грани осязанья
Те образы младенческой любви,
Зови меня в музейные прохлады,
Чтоб ощутить близ мраморной Паллады
Ток неумной нежности в крови:

Так смотрит с фотографии в упор
Прямой, спокойный, непреклонный взор
Хохлацкий, без владимирских прививок.
Но рубенсовский шейный твой бугор,
Наследственный, чувствительный загривок,

Но плоть благоуханна и тепла,
Обильна грудь и щедро тяжела.

С простосердечной важностью мадонны
Средь очереди в двести человек,
С глазами, что хронически бездонны,
С базедовою выпуклостью век
Стоишь средневеково, отрешенно,
А твой ребенок в красном капюшоне
Смеется и в ладонях плавит снег.

Есть кровного родства подкожный свет.
Когда отец повел меня в пять лет
В музей и там я стала у Джорджоне,
В твои черты вникая напряженно;

Твое, твое уснувшее лицо
С улыбкой целомудренной Венеры,
Знакомое, любимое без меры,
Не узнанное вовремя отцом,
Навеки на сетчатку мне легло,
Торжественной тревоге обрекло.

Я с нынешним обличем не знакома,
Иным воспоминанием влекома,
Я старости твоей не в силах внять.
В огне и умбре строгого Риберы
Я вижу, нет, не мученицу веры —
Волной волос укутанную мать.

* * *

Вновь август резвится лузгой средь проток,
Челнами скорлупок теснится
И мнет мой пустынный; мой горький цветок,
Цикорий в блакитных ресницах.

И даже пугает Москва в этот год
Особым обильем рябины.
Какое несчастье снова грядет,
О, дерево бедной Марины?

Но все сотворенное жаждет до слез
Ласкаться, пылать, осыпаться
Стручками акаций и связками лоз,
И строчек, и ассоциаций.

И донник, железных дорог чистота,
Мечта пересыльных вагонов —
Как всех материнских прошений тщета
В глухом дерматине законов.

Но пижма — что горсть золоченых гвоздей!
Как степь, отпевает отчизна
Над полною наволкой трав и идей
Всю заушь и блеск футуризма.

А тополь с листвою жестяною — сух,
Полсотни перин раздраконив,
Чтоб мне нелюбимый Чухонцевым пух
Ростком пропорол подоконник.

* * *

Сынок, на меня не похожий с лица,
Двенадцатый год, а растешь без отца,
И дом иструхлявел, изъела сырца,
Он в землю осел на четыре венца.

А на зиму щели мы ватой забьем,
А крышу худую мы варом зальем,
А славу худую мы стерпим вдвоем,
Мы полночь песни поем.

Пой с матерью, станет в груди горячей,
Чтоб жизнь твоя вышла вина не горчей.
Отец не приснится в мороке ночей,
Твой голос, мой голос и больше ничей.

А горе приходит — и в дверь не стучит!
Не криком кричит, а котенком ковчит,
И жариво пеплом нам перчит, чернит
И в припечке долго вздыхает, бубнит.

Ты ладишь скворешник, но нету скворцов.
«Ах, где же отец мой?» А! все без отцов!
А губы от пота без слез солонны.
Все дети да бабы, как после войны.

Арбат в конце 60-х

Мы топим лишь тем, что набрали:
Покровом листвы облечен,
Давно уж от теплоцентрали
Наш дом навсегда отключен.
И в волнах мышиноного писка
От радиовоплей спасен,
Давно в мосссоветовских списках
Он числится гордо «Снесен».

А осень и каплет, и плачет
Сквозь кровлю на головы нам.
Опять, мой простуженный мальчик,
По брошенным бродим домам.
Мы греемся тем, что накрали
И дремлем при свете углей,
Последняя свалка в квартале
Милей Елисейских полей.

И реет над ветхим изданьем
Родного дыханья парок,
И греет, и жжет состраданье,
Наследственный сердца порок.
От юности звонки колени,
Когда я раскисшим двором,
Где лип длинноногие тени,
Бегу с допотопным ведром.

И дверь в темноте открывая
На просьбу чудную «Воды»,
Бормочут: «Опять, чумовая!»
Хоронятся как от беды.
Но радостно, вольно, отважно
Я праздную эту Москву,
В ее нищете двухэтажной
Семь лет без прописки живу.

Окликну тебя и — ты слышишь, —
У Дюрера, лъстя и дразня,
Вдруг толстую женщину сыщешь
С улыбкою, как у меня.

* * *

В глумленье продавцов
ты ль очередью кроткой,
Россия, ты ль стоишь,
мечтаешь о еде?
И радуешься в крик —
с прокуренною тлоткой,
В красе одутловатой и беде...
Как перепел живешь
меж пахотой и жатвой,
А над страной повис
войны призывный марш.
Успеть ли песню спеть!
Суметь бы продержаться,
Пока машин не выведет Тяжмаш.
Бежишь-бежишь-бежишь...
С тринадцатого года
Ты вечно на ногах,
с испугу — на крыло.
Но подан знак уже
великого исхода.
И впереди до ужаса светло.
Не спрятаться уже
в картофельные тропы,
В твой торфяной покой,
в серебряный овес...
Но, может быть, в лучах
вселенской катастрофы
Отвергнутого бога призовешь?

* * *

Весной затяжною ты бродишь, сипя,
Не греют ни спирт, ни огонь.
Да что ж ты, родной мой, не любишь себя,
Не любишь уже никого?

Ты вспомни, ты вздумай, твой голос,
твой взгляд
Опоры родства бережет,
Как в смутное время запрятанный клад,
Душа твоя все переждет.

Но имя, но отчество гордо неси
Из дымных военных родин.
И ты в одиночестве разве не сын?
Ты даже в себе не один!

Высок, точно твой раскулаченный дед —
Отвалы Кузбасса над ним —
Ты вспоен отстоем безвесенных лет,
Скупым сердобольем родни.

Неужто и сын твой навек обречен
Тоске безотцовной крови?
По образу по твоему сотворен,
Как ты, сотворен для любви.

Наследство

Был продан дом и занавешены
Чужою марлей окна комнат,
А дедом было мне завещано
Все то, чего родня не помнит:

Вот эта ложка оловянная,
Что съедена наполовину,
Вот эта песня покаянная
Про несчастливую Галину,

И рамка от портрета Сталина,
И в двух кульках репей и мята.
Еще подушка мне оставлена,
Где сны полны погонь и мата,

Да уличные три акации,
Что так цвели ему под старость,
И тех пощечин оккупации
Неотомщенный жар и ярость.

Глазная больница

Ну, что, слепыня, много ль нажила?
На паперти кусков не собирала,
Ты гордо, независимо хворала,
Но не виденья — виденья ждала.

Нам честный труд спасения не дал.
Безумный от метилового спирта,
Лимитный сварщик, много ль ты видал
Любви и солища до того, как спиться?

А ты, терпя очей и чувств разлад,
Искусственные слезы лей из ампул
И зеленую лечи нечистый взгляд,
Зеленую тебе включили лампу.

Неси, Василий Темный, слепый князь,
Единокровьем прорванные веки.
О родина, ты каждого из нас
Рублем и страхом обрекла в калеки.

Незрячие вели учителя,
Невидящие лекари лечили.
Не оттого ль предательства и зла
Мы в собственной судьбе не различили?

Нам шьют сетчатку лазерным лучом.
Но сердце, что истерлось от презренья,
И дно глазное жаждет озаренья,
И взор больной, не знающий смиренья,
Что бельмами безверья заточен,
Прозренья просит, Господи, — призренья!

Донорский пункт

Ах, я не скажу, как он горько стонал,
Как страшно тебя поминал.

В безденежье вечном, как всякий поэт,
Он думал, что в мире родней тебя нет:

Рифмовки привычкою глупой
Да крови четвертою группой.

Чтоб соком томатным питалась любовь,
Семитская бескомпромиссная кровь,

Что противу лжи бунтовала,
Под иглы себя отдавала.

На донорском пункте казенный обед,
Две красных десятки да точечный след:

Ты тоже была не скупая,
Сирень в феврале покупая.

Полжизни — за эти минуты вдвоем.
Того только любим, кому отдаем.

И вот оттого после смерти во сне
К тебе он идет, не ко мне.

Но в ком-то любви его пульс не затих:
В славянских роженицах, в детях чужих

Души этой кровная мука
И щедрость сердечного стука.

* * *

Чтобы получить дорогой черный
агат, надо положить белый
агат в мед на год, а потом
выжечь мед серной кислотой.

Я в мед положила
свой белый агат
И год позабыла, когда:
Он счастьем, наверно,
был слишком богат,
Но помнится только беда.

Мой белый агат
я люблю до сих пор
За холодность бусин во рту,
За их волокнистый
молочный узор,
Весомую их полноту.

К бессмысленным опытам —
что же возьмет? —
Влекла меня их чистота.

И щедро впитался
 в агат этот мед,
И выжгла потом кислота.
Он так почернел,
 что не знаю сама,
Как он не сгорел у меня,
Мой черный агат,
 драгоценная тьма,
В нем уголь и живучесть кремня.

И если последние строчки
 слагать,
Последние слезы слизнув,
Проплакать, солгать
 про мой белый агат,
Сквозную его белизну.

* * *

Возле церкви в селе Городня
Никогда не положат меня.

В светлый день, неизвестно который,
В этот серый пустой крематорий
На машине свезут, как в гараж,
Где казенная пленка долдонит,
Хризантемы мне вложат в ладони.
Как ты мерзок, подземный этаж!

После этой возни-похоронной
Только серые будут вороны
Ликовать от весны и кричать
Потому, что я так их любила,
Будто что-то родное мне было
В их носгах, и прыжках, и речах.

Крещение кукушки

О. Н. П.

Обычай в Калужской области— посестримость, сопровождается ритуальными поцелуями, обменом личными предметами и крестами, собиранием травы «кукушкины слезки», совместной трапезой. Создается тайный союз на определенный срок под покровительством кукушки.

Плач девичий да горечь догадок,
Но калужский обычай твой сладок:
Это праздник славянский — ночами гостить.
Посестримся! Мы будем кукушку крестить,
Мы платками должны поменяться,
В чистом платье навеки обняться.

Мы собираем «кукушкины слезы»,
Так целуй сквозь венок из березы,
На меня улыбнись, хоть на год поклянись,
Что меня не забудешь, сестра, —
Для другого я счастья стара.

Я тебе расскажу про невесткину жизнь,
Только ты не страшись, не дрожи.
Нам кумиться дано, нам таиться грешно,
Ведь отныне вдвойне мы родные:
Ах, и сестры, и тезки двойные.

В белом девстве, в молочном раю
Я от брачной любви утаю
Замирающий взгляд, этот шаг наугад
В конопляной одежде до пят.
Не открою, как ночи длинны,
Злые ночи безмужней жены.

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА

Обрыв

Там с обрывом срасталось облако,
И ветвилось, и корни ширило.
И летало с обрывом облако
От земли до святого ирия.

Шли обрывом слепые странники,
Собиралась топиться девица...
И какие-то были праздники...
И по небу летало деревце,

И роняло такие яблоки,
В каждом — купол святой обители...
И детей поднимали на руки,
Чтоб повыше младые видели.

Вверх, повыше от всякой нечисти
Поднимали отцы стожильные.
Вот как видели во младенчестве
Землю ту, на которой жили мы.

А теперь — лишь обрыв под радугой...
А в дорогу кто собирается —
Перетопчется с ноги на ногу,
И дорога его кончается.

Дай мне, Боже, дорогу длинную
Да на землю мою былинную!
Как плечо мое после вывиха,
Вправо обрыв в эту реку тихую,
Вправо крыло — и навстречу выбегу
Я босая и вся до выдоха...

И прозрела я — речка высохла!
И молчала я и не пела я...
И осенний закат неистово
Меловые обрывы белые,
Словно храмы, огнем расписывал.

Холмы

Издали холмы, словно уши медвежьи —
Чутко-чутко следят каждый шаг.
Издаലെка завидит случайный проезжий
Три избы на медвежьих ушах.

Спит веками хозяин, а то — месяцами...
Но порою встает на дыбы —
И становятся хижины эти дворцами,
И сшибаются лбы.

А впадает опять в запоздалую спячку —
Долго щепки летят и гробы.
Но глядишь — как никак —
а стоят враскорячку
Три избы.

И взроптал младший сын
и дурак по призванью,
И покой устремился искать.
Но к обрыву дороженька вывела Ваню —
Три избы на обрыве опять.

— Где покой обрету, —
стонет Ваня,
— О, где ж я?!
— Здесь покой обретешь и оплот.
Здесь обрыв над рекой —
это лапа медвежья.
Он ее днем и ночью сосет.

* * *

И опять забываюсь
у всех на виду,
И вдоль пыльной дороги
бреду и бреду,
И все чаще я
Опускаю глаза,
но тогда все равно
Все мне чудится небо,
лишь небо одно

То-то праздник затеется,
Да века
Воет в поле роженица —
И никак!

Не омыта покойница,
Край села...
Кто с ладони прокормится,
Кто с кола.

Кто дождется известия —
Сын ли, дочь...
И пойду через песню я
В чью-то ночь.

Так пройду через сплетни я,
Молвь и слух,
Пролечу сквозь последние
Сны старух.

Отмету сны я высшие
Прочь сама,
И найду самый выживший
Из ума:

На болотах за селами,
Матерясь,
Все старуха веселая
Месит грязь.

Лепит старая детушек,
Целый рой.
Подрастают — и нет уже
За горой.

Только младшая глупая
Средь болот
Ходит, что-то баюкая,
И поет:

«По головушке дочь свою,
Ох поглажу я.
Песню тихую я спою,
Песню страшную.»

Ни души в этой песне нет
На сто верст.
В песне этой что ни куплет —
То погост.

В песне этой что ни словцо —
Гиблый след..
Через песню да сквозь кольцо
Выйду в свет.

А на свете ни правд, ни врак —
Ничего!
Только бьет по воде дурак
Бечевой.

Отражение бьет свое
И бормочет вслух:
Лучше битого мы добьем
За небитых двух.

Будем строить мы с ними дом
И друг друга бить.
Много станет всех нас потом,
Может быть».

Вечер. Ветка

Там дерево росло и пламенело
И ввысь влекло свое большое тело,
Откидывая руку на ветру.
И ветка протекала над долиной,
Багряная с лазоревым отливом,
В колодце отражаясь ввечеру.
И птицей, надломившейся в полете,
Скользила вдоль обветренного локтя
Той девочки, что пела на юру.
А яблоня диковинной расцветки
Глядела вслед своей растущей ветке,
И яблоком круглился в поле холм.
И оплетенный ветрами и вербой
В колодце отражался полной сферой,
Плывущей в руки яблоком потом.

Товарняк

За бешеным
товарняком
восходит солнце...
Закрученный в колесах
алый шар
Разорван в клочья —
и по рельсам льется
Холодный нестихающий пожар.

Кидаясь по равнине
вправо-влево,
Звереет и ветвится товарняк.
И гонит ввысь неистовое древо
По рельсам свет,
как соки по корням.

И в небо поворачивая круто,
И всасывая солнечный восход,
То древо-товарняк
огромным спрутом
Корнями оплетает небосвод.

А что за груз на огненных колесах?
А что за плод на скорченых ветвях?!
И рубит мир из древа того посох,
Иного не найдя в своих степях.

Пожар в степи

Ну милый...
ну если я что говорю —
То лишь тишину волчью...
Так шорохи конь вдыхает в ноздрю,
Так в черный проем ночью

Сознание плывет...
И дым вдоль реки
Крадется искрящейся тварью,
И к звездам ползут полевые зверьки,
И норы полны гарью.

И вот уж монашкой степь лежит,
Не схимой черна — кровью
Обугленных трав, ручьевых ложбин.
Вся степь моего безмолвья.

И правда, и кривда, и добрая весть
Горяг во степи,

и разве

На праведном свете равнины есть
Родимее, чем безгласье?!

Но милый...

уж если я что говорю —

То лишь тишину божью.

Когда полыхает вся степь на корню,
То в ней и не пахнет ложью.

Проселки

Ноябрь

Гнилое яблоко...

И не с кем

Всплакнуть и спеть

с ладонью у щеки...

Глаза ребенка из-под занавески —

На окнах занавески коротки.

Жизнь коротка — и руки не раскинуть,

И не вздеть, и долу не ронить.

Толкает ветер в спину, в спину, в спину

Настойчивее ласковой родни.

И тянется кострище за полою,

И пламя под полою, как дитя,

Чужое, ненакормленное, злое...

Во сне ладони вскинешь над золою —

И падает в них яблоко гнилое...

* * *

Колодец...

Колокол...

Колода...

Владимирка

Над Владимиркой ночь...

Воскресая,

Неприкаянная, былая,
Все по тракту бреду я босая.
Крепостная...

О, как долго спала я.

Проспала и державу, и волю,
И последнего конвоира.
Вот стою на дороге и вою:
«Милый, сирый...»

Кандалами, как волей, объятый,
Ты веками проходишь Муром,
Ненаглядный мой барин проклятый,
Что ж тебе не спалось этим утром?!

Этим хмурым и вечно декабрьским...
Или так возлюбил народ свой?
Как тебе говорю я: «Царствуй!»
Так я сыну скажу: «Юродствуй!»

Вот он, первенец твой, наследник,
И отрада любви холопской.
И поныне, как в ночь намедни,
Я за тряской бреду повозкой

По ухабам и мокрой глине.
Уж она не видна далече...
Бог же в помощь твоей княгине!
Мой же путь за тобою вечен.

Так веками бреду одна я,
На Владимирке сына рожая,
И в твои кандалы пеленая,
И веками тебе чужая.

Брат

Мне десять лет. Свою судьбу
Я вижу всю как на ладони.

До боли закусив губу,
Я молоко ташу в бидоне.

И бьется об ноги бидон,
И молоко в сапог стекает...
Как нескончаем птичий стон,
Как молчалива и дика я.

А плечи детские остры,
А исподлобья — ну и взгляд же!..
Иль не такой хотел сестры
Мой вечный брат, вой вечный младший?

К друг другу прижимаясь, мы
Сидим под шалью журавлиной.
Еще прожить нам три зимы
Под этой ягодной калиной.

Она по шали, по кайме
Таковыми алыми кистями...
И будут праздники в семье,
И дом наполнится гостями.

И вновь свое ружье отец
Зарядит шалою дробиной —
И стая из конца в конец
Вся разалееется калиной..

И, поклонясь, я в пляс пойду,
И разгляжу я сквозь калину,
Как спит под шалью брат в саду.
И бьется птичий стон о спину.

И проплывают облака,
И белый свет на веки льется...
Я полбидона молока
Ташу из дивного колодца.

Меня тревожит лишь одно,
Что слишком много расплескалось,
Что я опять увижу дно.
Мне донести хотя бы малость

Для вечно младшего в семье.
Когда и внуки старше станут,
Он будет ждать один во тьме
Десятилетнюю Светлану.
Он так не ждал бы даже мать.
Протянет руки и застонет.
И я судьбу свою опять
Увижу на его ладони.

Зимний сон ребенка

I

И будет сон июлем наречен...
И зверь лесной ребенка не обманет —
В меху сверкнет задумчивый зрачок.
И мягко, гибко выведет к поляне.
С ладони птица ягоду возьмет,
И с клюва синь стечет на оперенье.
И пчелы соберут лазурный мед,
У малого цветка отнявши зренье.
А он и рад, прозревший во сто крат,
Плодом уж зачинающимся рея...
И слепотою в тысячу карат
Прозрачный глаз беспомощного зверя
Подернется туманом на заре.
И скажет мать, что утро так туманно,
Что это даже странно в январе,
Так странно...

II

А после это яблоко придет,
Прохладное и скользкое для пальцев,
И вспыхнет восковой налет
Над выпуклым густеющим багрянцем.
Наверно, если свечка оплывет
На пальцы и на шар крутого солнца,
И если пламенеет небосвод,
Наверно, это яблоком зовется.
И вот когда во сне воскликнешь: «Вот!»
И вот когда обнимешь поднебесье!
И в руки это яблоко пойдет,

Огромное, багряное донéльзя.
А после затомится на столе.
И скажет мать: как яблоко багряно,
И это даже странно в феврале,
Так странно...

Деревья

В закатном багряном бездымном пожаре
Размашисто страшно деревья бежали,
И ввысь уходили они по спирали,
Как черные воды в песок.
Так мертвые воды подземного Стикса
К древесным корням норовят просочиться.
И каждое древо — то рыбой, то птицей,
То зверем спешит на восток.
Но в центре спокойного алого диска
Вольно же бегущим людьми становиться
И речь обретать и заглядывать в лица
друг другу: кто раб? кто пророк?
Друг друга судить и казнить, и молиться,
А вырвавшись прочь из горящего диска
В заветное древо свое воплотиться
И снова спешить на восток.

* * *

А ночью, что ни слово — то пришелец
Из недр таких, что вымолвить невмочь,
Чтоб нового не вызвать...

Неужели

Дана мне ночь
Какая боль во мне гнздится?
С таким упругим светом за плечами,
С такими злыми острыми звездами,
С дороною сыпучею...

Куда мне

Глаза пустить,
чтоб в мареве развилок
Однажды не взглянуть себе в затылок
Тягучим взором нового пришельца —
Ночного слова —
старца и младенца.

Как трава, на край света
от порога я шла.
Вот край света,
а корни
не заметили вроде
И в порыве взломали
синий лед пустоты.
Вот оно —
золотое
мое половодье.
За спиною — край света,
предо мною — плоты.
И стою на плотях я
и пытаю упрямо:
— О, куда поплывем мы
в такой ледоход?
— На край света
на самый, —
Отвечает народ...
Травы этого лета
собрала мне в дорогу мама...

Сон в глубине леса

Глубь леса.
Там —
ручей,
дупло,
и пчелы дикие,
и солнце на траве...
Еще тепло...
И земляники я
две пригоршни несу,
к груди прижав
и — ах! —
оскальзываясь
в лесу на мхах
и на росе вечерней...
И сероглазого
я ангела кормлю из рук
и чем я
мила ему, не знаю.
Только вдруг

и вправду я мила ему
такая!
Под ивою сижу
и на коленях
я голову держу

его прекрасную...
И в дебрях шелковых брожу
И праздную
всей безысходности печать
на том челе

и в том раю.

К чему скрывать—
я так люблю!

В тот миг,

когда не различают лиц,
и все-таки...

Вот наши волосы сплелись,
и сотканы
из них все крылья певчих птиц.

И сотами
сияют в небе облака.

И льются стебли ивняка
медовые

в лесной ручей...

Пока светло,

пока тепло

Я так люблю

ловить медовую струю

и распускать крыло

на срок,

как будто сношенный чулок.

И снова сматывать клубок.

И в лоб устало целовать.

И спать...

Февральское

Даже если сюда возвратиться,
Даже если февраль — однолюб,
Будет пить одиночество птица
И закидывать медленно клюв.

Чтоб тяжелые капли стекали
В невесомое тело ее,
Чтоб вода испарялась в стакане
В том дому, где, как сон, бытие.

Чтоб однажды рожденной февральской,
Возвратившись в заветный февраль,
Бесприютную птицею райской
Растревожить морозную рань.

Пробуждение

Этот город я давно забыла,
Это все давно я потеряла.
Из-под рук гранитные перила
Волнами уходят в небо прямо.

Опершись о камень, о волну ли,
Уходя по камню, по волне ли,
Я уйду навек из этих улиц,
Из ночной гранитной колыбели.

Милый мой, зачем же это было?
Дети наши — помыслы благие...
Эта мать ребенка разбудила
Старцем после долгой летаргии.

* * *

Писала я про птиц,
Про вольные пространства...
От шелеста страниц
Ребенок просыпался.
Дрожало при свече
Дыханье в гулкой нише:
— Ах, птица, ну зачем?!
Ах, птица, что ты пишешь?
Ах, птица, мы еще
Воскреснем на неделе.
На левое плечо
Мы перышки наденем.
На правое тайком

Мы ангела посадим.
Витай седым дымком
Над углями...

И сзади
Горбуньею кажись
И забавляй прохожих.
И это, птица, жизнь,
И это жизнь...

И все же
Проснешься поутру —
Виденье на ресницах.
Потянешься к перу...
Ах, птица, птица, птица...

НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВА

* * *

В комнате лампа горела и черепаха жила.
Хозяин ее занавесил окно одеялом.
Недавно ушла от него молодая жена.
На стенке ее фотография смутно мерцала.
Писал он портрет чугунного утюга.
Женщин к себе приводил, ожидая участия.
Но холодны были они, и он матюгал
Бабьё, худсовет и бывшие надежды на счастье.
В панцирь втянувшись, его черепаха спала.
Он на диване валялся, Монтеня мусоля.
И, уклоняясь от коммунальных оплат,
Ел все сырое, с медом и вовсе без соли...

* * *

Его никто не ищет,
А он прячется.
Никто не подслушивает,
А он говорит шепотом.
Писем не пишет,
К телефону не подходит,
Дверь не открывает.
Получив поздравительную открытку,
Рвет ее на мелкие клочки.
Он заболел — но не ест:
Отравлено.
Ему говорят, что звонил его бывший начальник
И приказал есть —
Слушаюсь, но вы ответите за мою гибель.
Ему кажется, что все за ним следят,
А он никому на свете не нужен.
Вот на окошко сел голубь —
Қыш! — у него под крылом микропередатчик.

В метро

В тапочках домашних и в мужских носках,
В шали черной птичьей к нам она спустилась,
В Гум и в Цум, в Пассаж с неприступных скал,
Чтоб набрать в хурджины тяжесть непосильную.
Слышу я как будто на русском ломаном:
«Сколько надо мальчикам, а еще — невесте...»
Как разговорится за столом она!
Как же распоеется по приезде!
Как раскинет крылья над выводком своим,
Гордо заклеочет, радостно прищелкнет —
А пока в вагоне рядом мы стоим,
И качаются в руках у нас кошелки.

* * *

Дрожим и грязь привычно месим.
Как хвори вылечить, друг друга учим.
Но вот обкладывает декабрь месяц
Все небо войлочными чудо-тучами.

И головы садовые, остатки-сладки,
Горбатые могилы и сердца-не-камень,
Авоси и тят-ляп, наши взятки-гладки
Заносит строгая зима надежными снегами.

И только на дремучих зубчатых границах
Стоят богатыри седые, вскинув ветки,
И вся Россия — снова белая страница
С мечтою о прекрасном человеке.

* * *

Она словно груша, да скушать нельзя.
Но можно постучать в нее для разминки.
И как бы ее далеко ни послали,
Она возвратится, какая была.
Она из природной рязанской резины,
И вмятины в ней вам навстречу идут:
И рот, и глаза, и ноздри, и уши,
И сладко мурлычет в ладони пирог.

Плетенка ее белобрысой корзины
Неуязвима ддя плюх и ракет.
Просвищут и ухнут — она года за годом
У телевизора, греясь, сидит.

* * *

Люди, люди — порожденье
Крокодилов, бармаглютов.
Если их поймешь-полюбишь,
Если наградишь-одаришь,
Сразу хвост они распустят,
С пальцем руку всю откусят,
Плюнут в душу и потушат
Невеликое тепло.
Люди, люди, я ведь тоже
Человек — дитя чудовищ.
Загребущими руками
Истощить меня легко.
Боже, Боже, помоги мне —
Мне, занозистой, шипящей,
Рыкающей и когтистой
К нам, игольчато-кишечным,
Слепо-стадно-ядовитым,
К нам, присоскам жестоккрылым,
Нежность — нежность! — сохранить.

* * *

Не соперничать мне с электроплитой,
Не носить лица с киноэкрана.
У меня пружинка дребезжит,
Проявитель капает из крана.

Никогда не стану я своей
Ни у гаечных ключей, ни у английских.
Сколько ни смотрю я в телескоп.
В небе я не наблюдаю близких.

Ты одна поймешь меня без дна.
Прилетишь на пассажирской mine.

К половинке рюмки поднесешь
Соответствующую половину.

* * *

На дне глубокого колодца.
Лежать я буду как придется.
Мои подружки все попали в суп.
Приятели, мыча, жуют газеты,
Их дети учат наизусть кассеты
И наше пробуют вранье на зуб.

На дне глубокого дивана
Лежать я буду, словно в ванне.
Мои слова универсальны, как шампунь.
Мои надежды розовой обмылка.
Ребенок тоже врет свежо, но мило.
В кармане мамином он роется, шалун.

На дне глубокого забвенья
Лежать я буду с громким пеньем.
Мы все частичным сражены параличом.
Бегут безногие спортсмены,
Безрукие творцы возводят стены.
А исцеляться не заманишь калачом.

* * *

Наслушаться и навидаться позарез.
И умудриться, успокоиться под дых.
Обло и озорно рычит окрест.
Что выедает очи? Стыд ли? Дым?

Отщипывать по крохам от куска.
Что жизни краденой и слаще и глупей?
Быть может, на погибель выпускать
Почтовых безвозвратных голубей?

И если чаша — лишь вдохнуть пары,
Жар-птица — только ахнуть и успеть.
Но и до самой, до «не может быть» поры —
Вот-вот, сейчас, еще немного и — уснуть.

* * *

Великолепная семерка: шесть чувств и ум и—поскакали.
А если надо — полетели,
Поплыли клином, косяком и цугом.
Мы видим, слышим, чуем в семь дыханий.
Как здорово у жизни отбирать свое!
Ее причуды, шутки-прибаутки,
Ее шизню и образ мыслей шахматиста.
Как весел тот, чьи кони резвы,
Трудолюбивы пчелы, змеи ядовиты,
Как, жадно в семь дыханий жизнь пожрав,
Пустил немислимое по ней гулять —
А это что за зверь и что за птица?
Как счастлив тот, кто семипалой лапой
Любимых, обволакивая, гладит.

* * *

Весь век я прокукую в дремучей стороне.
В плену я у мороза всю молодость промаюсь.
С книжкой под мышкой, с улыбкой и в рванье
По дорогам скверным всю жизнь я прохромаю.
В этом лесопарке культуры и беды
Я колесо раскручиваю малого обзора.
За свои воскресные небесные труды
На большом без очереди прокачусь я скоро.
Я увижу времени гнутую трубу,
Я узнаю мелкую блюдечную бездну
И пойду-найду вечность и судьбу
У лесного чуда во берлоге тесной.
Весь век проговорю с ним на языке людском,
Всю жизнь я буду греть пространство нежилое.
А чудище — ни бе, ни ме, а оно — ползком
Или на дыбы, а все-таки — живое.

* * *

Не по несбывшемуся — по несбыточному плач.
Протяжный, полевой до горизонта.
Стремится ввысь и рвет небесный плат,
Захлебывается озоном.

Уляжется в сырую тишину.
И в ней свистят ручные электрички,
И первобытный дачник учит жить жену.
Из перелеска хор транслируется птичий.
Но у пейзажа нарастает зуд.
Он замычит и кожей передернет.
И снова нарастает круглый звук,
В несбыточное раструбом повернут.

* * *

Электрические соловьи!
Диетические объятья!
Наш Амурчик был зол и выл,
Воспитателям слал проклятья.
Стрелы шлепали в грудь и — хлоп!
На присоске резиновой липли.
А быть может, то был стетоскоп,
Участковый прослушивал хрипы.
И прописывал полный отбой,
Что-то фирменное с полочки.
Ах, не пой телефон, не пой
Мне звонков про счастливый случай!

* * *

На личных астероидах верхом
Мы крутимся по замкнутым орбитам.
Когда у одного уже весна,
То у другого время неолита.

Когда из цилиндрической дыры
Ты прокричишь, что ягоды поспели,
Отвечу я, приставив к уху душ:
«Спокойной ночи, я уже в постели».

И одного акулы объедят,
Другой, наверное, умрет на сцене.
Мы совместимся в концентрическом аду,
Где всех нас по достоинству оценят.

* * *

Мы встретились с тобою под землей.
Ты преподнес букет из макарон.
Я промокнула слезы пресс-папье
И мы опять пошли искать алмаз.

Мы вспоминали мир античный наш,
Когда росли на ветке на одной.
А нынче рядом шли кладовщики
И вкладчики, и сторожа кладбищ.

Они смиренно хмурили горбы,
Они откусывали головы цветам.
Да был ли он когда-нибудь, фрегат
Со стаей перелетных парусов?

Увидимся ли мы еще с тобой?
Ты цвет меняешь каждый божий день
И слава Богу, хоть работа в кайф.
А солнце — нет. Но полон рот птенцов.

* * *

И в дождь хорошая погода,
И в грязь хорошая погода,
В метель хорошая погода,
Всегда хорошая погода.
Горит герань зимою ранней,
В кругу солдатском общепита,
В кругу жужанья мух сверхсрочных,
В кругу окурков, вмятых в землю,
В жестянке с надписью «Горошек»,
На блюде с надписью «Кафе».
И ветер есть еще на свете,
И свет и тень еще на свете,
Погода есть еще на свете,
Погода с надписью «ноябрь».

* * *

Вор на рынке видит кошельки.
Продавец на рынке видит цены.

А хозяйка видит качество товара.
А художник видит краски и объем.
А поэт на рынке видит мир.
Мир, насквозь прозрачный, но неясный,
Ненавидимый, возлюбленный и даже
Собирается поэт укроп купить.
Кошелек поэта вор упер.
Продавец его не зазывает.
А хозяйка бестолкового толкает.
А художник написал зеваку
По контрасту средь мочалок и корзин.
Ах, да дело вовсе не в тычках,
Не в деньгах и даже не в укропе.
Дело в том — а как нам всем жить дальше?
Всем — художникам, хозяйкам и ворам?

* * *

Три ангела на облаке гремят.
Один по тазу лупит поварешкой,
Другой наяривает по кастрюле крышкой,
А третий бьет по рельсу молотком.

Но почему на коммунальном языке
В фольклорно-металлистском оформлении
Три ангела устроили камланье —
Мы что — не понимаем больше слов?

И облако трясется, как вагон.
Во весь опор над городом несется.
И вправду, Господи, нам всем пора спастись,
А не пастись и дальше в тупике,
Где даже ангел с молотком в руке.

* * *

Велосипед ко мне нагрянул в гости.
Какую околесицу он нес на спицах!
А шинами надутыми соображал он туго.
Он был деепричастно-грубо-сварено-складной.

Звон от него прошел по всей Руси великой!
Пыллил проселками и по шоссе он шаркал.
И вот теперь он жал на все педали,
Чтобы не сдаться вдруг в металлолом.

Он круто прав. Пора устроить ветер.
От скуки фонари по головам завяли.
И все, что есть в печи, мечу на стол я,
И мы начинкою врываемся в словарь!

* * *

За улицей сияет дом.
За домом звездным — сад.
За млечным садом — синь-пустырь:
Полынь, чертополох.

А дальше — свалка,
Нет людей,
И даже нет собак.
И больше нету ничего.
И яблоня стоит.

Дичее дикого дичка
На ветке — шар земной.
С упорным семечком любви.
С упрямым червяком.

* * *

Я — галоша «Скорород»
С толстым и блестящим носом
И таких, как я, не носят
Уважающие быт.

Я вцепился в клей «Момент».
Надо мной Госстрах смеялся.
Бедный тюбик быстро смялся,
Плоским стал, как анекдот.

Пропитал меня насквозь
Аромат его противный,
Нежный, дегенеративный —

Неужели до конца
Мне с ним хлюпать — до конца?

Понедельник

Прошитый очередью пишущих машинок,
Рабочий день скончался.
И все расходятся ожившие, как после похорон.
И памятники — каменные гости
Приходят на свиданья к дон-Иванам и доннам Аннам.
Страдает несвареньем транспорт.
Объедены прилавки гусеницами очередей.
В ковчеги ресторанов и кафе
Набились пары чистых и нечистых.
Крушенье потерпевшие в парадном
Буылку выбросили.
Я голову по городу несу, как кинокамеру.
От газов пучит центр,
И холодеют пальцы районов новых.
У города мигрень,
И голову сжимает кольцевая автострада.
Но бюллетень он взять не может
И продолжает зарабатывать на жизнь
Бумажные года, серебряные дни, минуты золотые.
Я прихожу домой и встряхиваюсь, как собака.
Сливаются невидимые брызги
В причудливые пятна на стене:
Вот с погремушками бородачи,
Вот с сосками-пустышками седые.
Все ждут — вдруг в этих яслях
Явится на свет спаситель,
И можно будет на него
Свалить всю черную работу.

* * *

На ресницах — тушь за восемь,
На щеках — французский тон.
И опять метро привозит
Ночью в одинокий дом.

За ларьком снимает туфли
(Австрия, за шестьдесят)
В тапочках по грязи дует,
Тощим задиком тряся.

И картошку в кухне тесной
Счету в такт она жует;
«Вход — два рэ, коктейль — два десять,
Пятьдесят коп. — бутерброд».

* * *

Покупатели, клиенты,
Не толпитесь, не волнуйтесь,
Всем достанется, всем хватит;
Умному — гастрит,
Глупому — колит,
Развеселому — подагра,
Грустному — гипотония,
Всем блондинам — по инфаркту,
Всем брюнетам — по инсульту.
Мужики, не напирайте!
Женщины, не верещите!
Все там будем,
Все там будем,
Даже те, кто не был здесь,
Кто глядел, не углядел,
Кто слышал, не услышал,
Кто вдыхал и выдыхал,
Только духу не хватило.

* * *

Дай Бог мне жить в маленьком мире,
Где пахнет халатом и летом
Даже зимой, когда стекла замерзли,
Где чадо и чад и домочадцы,
Моченые яблоки —
Даже блочный — мир этот — любящий внук,
Помнит деревянного деда, росшего на земле.
Дай Бог мне жить в мире укромном

Или в доме огромном.

Где одна вода

Омывает

Лицо норвежца,

руки африканца

и голый палец на ноге индейца мыса Горн,

Где сказки похожи, как люди — дальние родственники:

Две руки, две ноги и желание счастья,

Где Солнце гладит теплой ладонью плешивую голову
Земли,

Где жизнь болеет, голодает, но идет на лад.

Только не дай мне Бог закатиться в щелку,

Антисуществовать ради мундира,

Упасть в промежуток между семьей мировой

и семейным миром,

Где шелкоперы и бумажный ад,

Мышиная возня,

Паучьи банки,

Война тупоголовых и головотяпов

И клубы людоедов по интересам.

Не дай Бог никому.

МАРИНА ВИРТА

Метель

Но едва Владимир выехал за околицу в поле,
как поднялся ветер и сделалась такая
метель, то он ничего не взвидел.

А. С. Пушкин. «Метель»

1

Отправят девочку в кровать,
Она пригреется в постели
И будет тихо засыпать
Под шорох пушкинской метели.
Ей хорошо. А надо мной
Сны и невнятные, и недолгие.
Зато я чувствую спиной
Всю благодать вагонной полки.
И мельтешащие стволы
Вдруг остановятся на месте,
Где обе встречные «Стрелы»
Видны друг другу на разъезде.
В обеих сон и забытье.
Но кто-то в той в Москву стремится,
Он едет в прошлое мое,
Как я в его, и нам не спится.
Рассвет. Перрон. Метель и мгла.
Но я увижу сквозь преграду:
Адмиралтейская игла
Летит навстречу снегопаду.
Звенит мотивчик в голове,
Отвергнув мысль о небывалом...
Уютно девочке в Москве
Дремать под теплым одеялом.

2

К окну подойди, близоруко глаза напрягая,
Закутайся в кофту и зябко дыши на стекло.
Метель заметает дороги от края до края,
Все выше сугробы, всю память твою замело.

Бессмысленно думать метельною ночью о лете,
Да ты и не помнишь, как выглядят летом луга.
Ты лучше послушай, как северо-западный ветер
Все гонит и гонит с балтийского неба снега.
А там, далеко, у Невы, вдоль пушистой аллеи
Идет человек, побелевший от снежной красы.
Ты за полночь свет погаси и укройся теплее,
И незачем взгляды косые бросать на часы.
Вокруг ни домов, ни людей, и весь город как вымер.
Два скорых, два встречных готовы в дорогу опять.
В такую метель заблудился бы снова Владимир,
В такую метель, разумеется, нечего ждать.

3

Черный Пушкин в сугробы одет,
На бульваре скамьи завалило.
У художника выбора нет, —
Надо впрок заготовить белила.
Он этюдник берет за ремень
И выносит его на свободу.
В безметельный, безветренный день
Принимается он за работу.
Вот и мне за работу пора,
За окном тишина и доверье.
На заснеженной глади двора
Выделяются четко деревья.
А вчера уверяло меня
Мельтешение линий и точек,
Будто слышно хрипенье коня
И под самым окном колокольчик.
Чем кончается повесть? Ах да,
Тем же самым, чем кончилась прежде:
Совпадение в конце, как всегда,
Оставляет пространство надежде.
Кто виновен, что мы в суете
Забываем про снежные бури?..
У художника снег на холсте
Получился белей, чем в природе.
Зимний день потускнеет к пяти,
Мы опять никуда не успели.
Ну и пусть. Посидим взаперти,
Подождем продолженья метели.

Два голоса

1

Перед тем, как отчаяться, я проявлю нетерпенье,
Я позволю себе Вас от будничных дел оторвать.
Может быть, не любовь, а наивная вера в спасенье,
Золотая надежда меня посетила опять.
Может быть, не любовь, — тяготенье к покою и свету.
Может быть, не слеза, а капель на озябшей щеке.
На Неве ледоход. Вы стоите спиной к парапету,
Вы пальто распахнули и держите шапку в руке.
Так постоит еще и позвольте на Вас наглядеться.
Мне от счастья тепло, я легко подбираю слова:
Может быть, за мое сиротливое, темное детство
Мне сегодня подарены Вы, ледоход и Нева.
Этот день отойдет, растворясь в суетливых и шумных
Прочих днях наших жизней, исчезнет, как мартовский
лед.
Но однажды в глазах Ваших добрых, зеленых и умных,
Может быть, не любовь, — благосклонность ко мне
промелькнет.

2

Перед тем, как отчаяться, я вспоминаю все то же:
Ледоход на Неве и оттаявший серый канал.
Может быть, не любовь, но я думаю, будь я моложе,
Я наверное, все же любовью бы это назвал.
Может быть, не любовь, а надежда тихонько вернулась,
Не надежда сама, а ее осторожная тень.
Может быть, за мою дистрофичную нищую юность
Мне подарены были и Вы, и сырой этот день.
Так садитесь удобней и на ногу ногу закиньте,
Полудетскую туфлю небрежно качнув на мыске.
Может быть, не любовь, но звенят напряженные нити,
Но тепло на душе, но ладонь замерла на виске.
Этот день отойдет, и мы оба привыкнем к разлуке.
Может быть, не любовь, — благодарность пойдет
по пятам.
Но когда-нибудь я на ветру покрасневшие руки,
Ваши руки прижму к задрожавшим безмолвным губам.

* * *

Полна коммунальная кухня горячего пара.
Вполголоса плачет соседка — артистка Тамара,
Ее годовалая Танька заходится басом,
И кто-то стирает пеленки, склонившись над тазом.
Есть что-то запретное в сбивчивом их разговоре,
И я, малолетняя, робко толкусь в коридоре,
Пытаясь подслушать, и сводит мне скулы истома,
Укрытая в недрах большого московского дома.
Соседка Тамара, о как я от страха дрожала,
Я Вас обожала, я мысленно Вам подражала.
Я думала: вырасту, буду, как тетя Тамара
Степенно коляску возить вдоль Тверского бульвара,
Ходить по соседям в немыслимом белом наряде
И плакать на кухне, и Нину играть в «Маскараде».

* * *

Так смотрим на себя со стороны,
Как будто сами продлеваём взгляды,
Которые на нас устремлены
Из дистрофичных сумерек блокады.
Чем им ответить? Кто из нас — сумел?
И снова возникают на рассвете
Чернеющий Исаакий, артобстрел,
Над полыньей склонившиеся дети.
Как холодна вода из полыньи!
И мы не смеем лгать и притворяться.
Товарищи надежные мои,
Печальные, седые ленинградцы,
Давайте сцепим руки над столом
И помолчим, и убедимся снова,
Что ищем, что когда-нибудь найдем
Достойное, невыспренное слово.

* * *

Город. Холод. Круговерть.
Ожиданье под часами.
Ничего не разглядеть
Близорукими глазами.

Что в руке твоей? Темно.
Пригляжусь и вижу снова
То ли шпагу Сирано,
То ли дудку Крысолова.
В слабом зрении расчет
На возможные поправки.
Город. Холод. Гололед.
Подворотня. Поворот.
Черный чай в щербатой чашке.
Все детали до одной
Воскресит воображение.
Этой ясности ночной
Нипочем плохое зрение.
Поморгаю в темноту,
Все увижу — от верхушки
Чахлой елки и пичужки
До барочной завитушки
На изогнутом мосту.

* * *

От холода и сырости устав,
Держаться за промокший твой рукав
И ставить ногу в детском башмаке
Неведомо куда при каждом шаге.
Бездомный лист, отяжелев от влаги,
Прижился на твоём воротнике.
Фонарь над головою иль звезда?
А под ногами хлюпает вода,
И нет границы между тьмой и светом.
Держаться за промокший твой рукав,
И отказаться от насущных прав,
И быть счастливой, и не знать об этом...

* * *

Какие петли делает сюжет!
Его знобит, и крутит, и заносит,
И автор обессиленный не просит
Помочь ему и дать ему совет.
Он изжевал конец карандаша,
На потной шее проступила вена.

А героиня слишком откровенна
И неправдоподобно хороша.
Он паделен уменьем и сноровкой,
Он вседержитель, он ее творец,
Он был бы рад создать ее воровкой,
Мерзавкой, потаскухой, наконец!
Но от нее уступок не добиться.
И женщина, прекрасна и чиста,
С исписанного мятого листа
Глядит ему в глаза — не наглядится.

Коктебель

Не уйти — повсюду с нами
Груз ошибок и обид.
Над безлесыми холмами
Птица серая парит.
Лопушок, на мышь похожий,
В пыль зарылся и зачах.
Птичья тень тяжелой ношей
Распласталась на плечах.
Путь недалний, вид немилый,
Бесконечно длится день.
Над высокою могилой
Кружит умершего тень.
Не спеши остановиться,
Оглядись — холмы ли, дым?
На лицо мое ложится
Тень поэта или птицы...
Где живые? Где граница
Между мертвым и живым?

* * *

Плохо с погодой — никак не дождешься погоды,
И с настроением плохо — никак не исправишь.
Тих и заплакан беспомощный голос природы
И западает все время некстати, как клавиш.
Самое время — как в медленных старых романах —
Скорбно бродить по аллеям осеннего сада...
Ноги промокли и руки замерзли в карманах,
Холодно, пусто, темно, и кому это надо?

Питерский классик избытком культуры томится,
Он неприступен и желчен, цитирует Пруста.
Нам что за дело? Но стало в обеих столицах
Раньше темнеть, и под вечер на улицах пусто, —
Это немного сближает с начитанным мэтром,
От неюта осеннего всем нам несладко.
Наши квартиры и души пронизаны ветром,
На сквозняке не поддержишь былого порядка.
В общем, октябрь — обстоятельный и всемогущий.
Но из апреля мне слышится голос молящий:
«О, не откладывай встречу на день наступающий,
Встреться со мною сегодня же — в день уходящий!»

Тугодум

Рождественское зеркало молчит,
За окнами пустынно и угрюмо,
Но снег идет — и музыка звучит
В ночной душе героя-тугодума.
Он покурить выходит на балкон,
И медленные, медленные мысли
Его тревожат. Ночь, сочельник, сон
Над заметным городом нависли.
Он думает о том, как далека
Предавшая и слабая рука,
Но застревает мысль на этой фразе.
Над ним луна в своей округлой фазе
Едва-едва мелькнет сквозь облака.
Все остальное — мимо, мимо, мимо,
Как легкий снег и приглушенный шум.
Еще не срок — на то и тугодум —
Понять, что все уже непоправимо,
Что в зеркале рождественском — беда.
Он вспомнил: «Вифлеемская звезда...»,
Взглянув на огонек от сигареты.
Но мысль опять пропала без следа,
И он вернулся в комнату. А где-то
Созвездья стыли, женщина спала,
Собаки выли и метель мела,
А перед ним — искусственная елка
И маленькая детская кровать,
И девочка, которой надо спать,
Еще не спит. Но музыка не смолкла.

Он слушает ее. Идет к концу
Рождественская ночь под плач метели;
И медленные, медленные тени
Плывут по вдохновенному лицу.

* * *

В конце ноября стали дни друг на друга похожи,
И ночи длинней, и загадок полны вечера.
Из Летнего сада уходит последний прохожий
И тянут его, увлекая за полы, ветра.
Стоит на мосту неуверенно, как виноватый.
О, если бы он сквозь густую преграду ветвей
Сумел разглядеть меж немых заколоченных статуй
Смешное подобье великой печали своей!
Снега упадут и под кронами станет светлее,
И, пристально глядя, увидит другой кто-нибудь:
Вертлявая девочка плачет на главной аллее.
И шепотом просит ей облик минувший вернуть.

Художник

Г. Гордону

1

Фигурка в солнечных лучах,
Такая легкая фигурка...
Прабабушкина чернобурка
Лежит на худеньких плечах.
В толпе отбившись от подружек,
Летит на крылышках слепых:
«Ах, мы наделаем игрушек —
Медведей, зайцев, кошек, хрюшек,
И выпустим на волю их».
Меж двух стихий, на рубеже;
Безвольно головой качает.
Но взгляд художника уже
Ее средь прочих примечает.
Морозно, давка, суета,
Но представляется иное:
Художник знает, как с холста

Ее глазами высота
Окинет взглядом все земное.
И льется день, и льется сердце,
И освещается земля
Настырным солнцем февраля,
В котором не дано согреться.

2

Себе оставив тлен и прах,
Все, чем владели, раздали.
Не удержаться легкой пыли
На зимних северных ветрах.
Но те, кто нас зимой согрели,
Опять утешат и простят,
Когда на страшных скоростях
Зима приблизится к апрелю.
И встретит нас наперебой
Земля весенней перекличкой.
Но мы не впишемся с тобой
В пейзаж с подснежником и птичкой.
Нет, мы нахмуримся опять
На фоне елки обнищалою,
Что ничего не обещала
И ничего не может дать.
Лишь нежный запах теплой хвои
Набьется в нос и рукава.
И все вернется к нам с лихвою,
Все, что смодоли жернова
Судьбы, что закрывала вьюга
Слепящим, бережным крылом —
Высокий, жесткий профиль друга
И хвоя над его челом.

3

За чужой, за сиротский порог
Откатилась пора ликования.
Лишь когда подводился итог,
Благодарность пришла и признание.
Этот облик не сгинет впотымах,
Этот голос не канет в столетья...
Пройден путь. На недвижимых чертах
Обозначилось четко бессмертье.

И невольно примеришь к себе
Наподобие новой сорочки
Комментарий к великой судьбе
И две-три поминальные строчки...
Да минует нас эта напасть —
Примеряться к чужому величию!
Мы с тобой наиграемся всласть
В нашу малую, легкую, птичью, —
Городского масштаба судьбу,
Век отмерив строкою нечеткой
И закрыв канонической челкой
Заурядности мету на лбу.

* * *

Еще одна — строка или вина,
Победа ли, страница ли, утрата, —
Она пять приходит, значит, надо,
Чтобы она пришла — еще одна
Надежда, безутешность, годовщина,
Еще одна иллюзия — причина
Того, что так заманчиво смотреть
В грядущее, и там за облаками
Беду чужую развести руками
И, мудрости набравшись, не стареть.
Еще одна загадка между строк,
Дорога, птица и краюха хлеба.
Листвú сожгли, но тянется дымок
Живою нитью, уходящей в небо.
Ему навстречу, медленно кружа,
Еще одна опустится душа
И горько всхлипнет над непоправимым.
Бессмертны узы неба и земли.
Мы б этому поверить не смогли,
Когда б не надышались горьким дымом.
Легко ль пробиться будущим побегам?
Но Родина, засыпанная снегом,
Вся в ожиданье солнца и тепла.
Еще одна весна, влюбленность, жалость,
Дорога вверх вовек не прекращалась.
В нее самозабвенно воплощалось
Все, что сжигалось на земле дотла.

* * *

Мне снятся сны, заляпанные краской,
Одно и то же: кисти и холсты,
Окно глядит на дворик ленинградский,
А за окном — ворота и кусты.
Мелькнет рукав застиранной ковбойки,
Взметнутся шторы, пропуская свет.
Мне двадцать лет, и я живу на Мойке,
А за стеной художник — мой сосед.
И так спокойно, так спокойно спится,
Покуда длится долгий этот сон.
Проснусь — а за окном шумит столица,
А на столе трезвонит телефон.
Но в зимний день, заснеженный и краткий,
Когда ударит ветер по стеклу,
Махну рукой на все свои повадки
Медлительной спокойной ленинградки
И побегу на «Красную стрелу».
В сугробах город, Мойка в лед одета —
Моих дорог начало и конец.
Художники стоят у парапета,
Натура им — Михайловский дворец.
Один из них подышит на ладони
И вновь за кисть — и так до темноты.
И у него на маленьком картоне
Возникнут полустертые черты.
Так окликают в памяти кого-то,
Так ловят ускользящую нить...
Мне двадцать лет. Стою вполоборота.
А за окном — чугунные ворота.
Они открыты. Их нельзя закрыть.

* * *

О, смелость в разрешенном разговоре
О лагерях, затравленном актере,
О Сталине и вновь о лагерях.
Как этот говорящий горячится!
Но не страданье озаряет лица,
А любопытство мокнет на губах.
Дотягивай продуманную фразу.
Но я не верю в честность по заказу,

Где ушки осторожные торчат.
«Спокойно, дорогая, все в порядке»,
И город наступает мне на пятки,
И хлопья снега тают и горчат.
Скорей от них — куда, сама не знаю.
Кого-то догоняю, обгоняю
И оскользаюсь в снежной тесноте.
И мы идем с давно убитым в паре,
И страшный лед блестит на тротуаре,
И мой попутчик бледен в темноте.
Как тщательно мое воображенье
Врастает в роковое продолженье —
Тюремный мрак, допросы и посты.
Колотит дрожь, и в горле сердце бьется,
И все реально — можно уколоться
Об острый лучик маршальской звезды.
Всмотрюсь в лицо — черты уже другие.
Не он ли умирал от дистрофии
В тугом мешке саратовской тюрьмы?..
И нет числа ни в чем не виноватым,
Бесправным и оболганным — распятым
Под ледяным созвездьем Колымы!
Заело вьюгу на прощальной ноте.
Я опоздала. Дух, лишенный плоти,
Ты заблудился в снежной пелене.
Шатаюсь от смертельного урока.
Я потому сегодня одинока,
Что вы остались там и на войне.
Мир прочен состраданьем и любовью.
Молчите, прекратите суесловье,
Ночных застолий штатные сычи.
Я презираю анекдоты ваши,
И наспех сочиненные пассажи,
И чувство безопасности в ночи,
И ваши плотно пригнанные двери,
И неуменье ощутить потери,
И неуменье сделаться добрей,
И вашу спесь, и ваше верхоглядство,
Собачий нюх и тайное злорадство
Над вечной болью Родины моей.
Но есть другие. Им дана возможность
Хранить, презрев и страх, и осторожность,

Упрямого достоинства печать.
Но если вновь российский сочинитель
Попросит указать ему обитель,
Где нет страданья, — что им отвечать?..

* * *

Зима, дорога, одинокий путь,
От ревматизма вновь свело колени.
Гляди в окно и знай — не в этом суть,
А в предстоящей, где-то перемене.
Летит, летит старинный экипаж,
И путник ловит вьюги отголоски.
От множества находок и пропаж
Он присмирел и смотрит философски
На жизнь, на лес, на сумрак за окном
И на свои распухшие суставы.
И стоит ли гадать — а что потом?
А что потом? Доехать до заставы,
Коней сменить и вновь куда-нибудь,
Не привыкая к стенам и порогам.
Зима, дорога, одинокий путь
Располагают позабыть о многом,
О возрасте и прочих мелочах,
Забуть судьбы превратности и милость.
В нем дух силен и разум не зачах,
И перемена где-то притаилась.
Навстречу ей, вперед, еще чуть-чуть...
Он сел прямей и смотрит зло и властно.
Зима, дорога, одинокий путь, —
Ведь это тоже, в сущности, прекрасно.
Мельканье лет, и мыслей, и застав,
Рука тверда и непреклонен почерк.
Красавица, роман перелистав,
К окну припав, на цыпочки привстав,
Еще услышит легкий колокольчик.

* * *

Найди такой путеводитель,
Что выведет из тупика.
И отрекается учитель

От верного ученика.
И клятвы, данные навеки,
Клятвопреступникам грозят,
И вспять повернутые реки
Кричат и просятся назад,
Но как светло и одиноко
В любое сердце и жилье
Глядит всевидящее око,
Ах, Боже мой, не знаю, чье.
И ежели душа бессмертна,
Она не сразу, но поймет,
Что не смывается бесследно
Ее трудов кровавый пот.
И если ей дано измерить
Свой путь без края и без дна,
До самой смерти будет верить
В свое бессмертие она.

* * *

Целебной осени прохлада
Напомнит нам, что там, вдали,
С ветвей Михайловского сада
Листву последнюю сожгли.
Давай об этом погорюем,
Но в одиночку и впотьмах.
Сухим веселым поцелуем
Растаял август на губах.
Казалось бы, настали сроки
Печальный подвести итог.
Но льнет к рукам, но гладит щеки
С Невы таинственный дымок.
И я в ответ на милость эту
В сырой осенней полутьме
Взгляну спокойно в спину лету
И отверну лицо к зиме.
Приблудный лист ногой отбросив,
Ты не заметишь легкий дым.
Прощай! Зажгла фонарик осень
Над тусклым обликом твоим.

Дорога в Пушкин

1

От Павловска до Пушкина слышна
Одна неумирающая нота.
Высокая и легкая, она
Поет, парит без отдыха и сна,
А здесь, внизу, затишье и дремота.
А здесь, внизу, дорога и лесок,
И я опять автобус пропустила,
А дело к ночи, и земля остыла,
И я б, наверно, руки опустила,
Когда б не тот неясный голосок,
Как говорят, неведомая сила...
От Павловска до Пушкина дойти
Недолгой канонической дорогой
Не странницей и нищенкой убогой, —
А быть достойной этого пути.
От Павловска до Пушкина — туда,
Где память и деревья, и вода,
Где каждый шорох — и душа, и разум.
Пусть голосок не станет трубным гласом.
Но пусть в нем сохранится чистота.
И я себе сказала: «Не забудь
Сквозное полуночное звучанье».
И пело все — и миг, и мир, и путь,
А впереди — о, пусть хоть что-нибудь,
Все что угодно, только не молчанье.

2

В Царскосельском саду, осторожно цепляясь за ветви,
Паутина слетала. Откуда? — Наверно, с небес.
Сколько лет миновало, но нет ни светлей, ни заветней
Этой мысли короткой — никто никуда не исчез.
«Смуглый отрок бродил...» и, конечно, сейчас еще
бродит.
«Здесь лежала его треуголка...» Вглядитесь — лежит.
Тот, кто хочет найти, непременно идет и находит,
И в зрачках удивленных его паутина дрожит.
Золотой паучок, что прядет эти прочные нити,
Притаился в ветвях, и его бесполезно искать.
Почему же не ладится жизнь? Потому что событий,

Поворотов крутых мы с тобой испугались опять.
Почему же не ладится стих? Потому что в основе
Бережливость лежит и желанье себя сохранить.
Но на пальцах твоих и на каждом несказанном слове,
Посмотри, как блестит царскосельская вечная нить.

* * *

Б. Дряну

Пускай стихи приходят с холодами,
С бессонницей и зрелыми годами,
А то, что раньше, — это не стихи,
А бунинское легкое дыханье,
Кисейной занавески колыханье,
Наивный трепет, лепет, пустяки.
Зато она и вправду хороша —
Свою судьбу принявшая душа,
Прервавшая себя на полуслове,
Как только различила между строк
Чужой потусторонний холодок
С чужими запятыми наготове.
Сегодня, ежечасно, ежегодно
Живи, душа, отныне ты свободна,
Чужое не возьмет тебя в полон.
Выращивай свое, но помни свято
О тех, кто путь твой осенил когда-то.
Пусть вечным будет — только так и надо —
Твой первый ученический поклон.

Двор

В самом темном из темных дворов у Невы
Сохранился мой голос, веселый и громкий.
Этот двор украшают не сфинксы и львы,
А бачки и другие детали помойки.
Сколько раз этот двор пробежала насквозь,
Задыхаясь от бега, от снега и воли,
Сколько раз эту дверь открывать довелось,
Выходящую прямо на Марсово поле.
О железный замок обжигая ладонь,
Из дверей выходила, как будто из рамок.

Впереди, за сугробами, Вечный огонь,
А правее, за Мойкой, — Михайловский замок,
А левее — Неву закрывают дома,
В перспективе — мерцание Летнего сада.
В Ленинграде зима, и в России зима,
В целом мире зима с пеленой снегопада.
В преисподней от снега смола не кипит,
В райских кущах заносы — сугроб на сугробе.
У чертей и у ангелов горестный вид,
Расчихались в платки и трясутся в ознобе.
Замело представленья о зле и добре,
Ненадежною кажется каждая тропка.
Но зато как светло в этом темном дворе,
Между злом и добром примостившемся робко.

ЛЮДМИЛА СУРОВА

* * *

Вроде — рожь, вроде — тишь,
Вроде дух старорусской земли...
Постоишь, поглядишь
На горбатые тучи вдали.

На корявой сосне
Вдруг заметишь обрывок пеньки.
А приснится во сне,
Будто в поле рвала васильки.

Павлово-посад

Замшелые крыши,
Косые ворота,
Белесый люпин во дворе.
Понурая лошадь,
Жующая что-то,
Ступает по голой горе.
Приметливы бабки
На ветхой скамейке —
Чернеет старик
Из худой телогрейки
С глазами дворового пса.

О крепкая, ярая, злая —
Веселая сила Руси!
На крови Петра и Мамаю —
По душам Петра и Мамаю —
Звонили соборы: спаси!

Спаси от пожара и мора,
От засух и зеленыя,
От воина и от вора,
От бога и богомола,
Но боле всего — от меня.

* * *

...И тщетно я ищу среди родни
Судьбою меченных и праздных.
При деле все.
Вот резчик нарезает облака
Над бывшим домом.
Вот пастух, свирели не выдавший,
Клин журавлиный гонит.
Женщин череда
Отрадно каждый год рождает,
Что надобно земле...
Где песенник?
Где скоморох-ломака?!
Где богомаз-могильщик?!
...Ни следа...
И не было, как говорят,
Попыток бегства.

* * *

Зима. А комнатный цветок,
Забытый всеми, зеленеет.
Стучится в жилках слабый ток,
И тень на скатерти бледнеет.

Зажатый смертной белизной
Сугробов и льняных полотен,
Один, как полоумный Ной,
Он празднует спасенье плоти.

Над ним не властвует закон
Причинно-следственных движений, —
И зреет маленький бутон,
Легчайшее из украшений.

Смельчак! Хитрец! Постой, зачем
Ты собираешь кровь в соцветья?
Зиме лежать еще столетье,
Твой подвиг немощен и нем.

Не лучше ль подождать тепла!
Детей закружат хороводы,

И мертвые воспрянут воды,
И зелень будет так светла...

Но глух к соблазнам часовой,
В себе взрастивший долг и веру,
Как будто разум мировой
Его последует примеру.

* * *

...И даже не глина.
Ибо глина
Стремится к единственной форме.
Обжиг ее умертвляет:
Уже не материя — вещь.
Свободна от жизни,
От этой руки беспощадной,
Которая давит и мнет,
И хочет чего — непонятно.
Свободна быть амфорой,
И только ею.
Венериным торсом,
Или ее рукою, —
Но никогда уже
Всем сразу
Одновременно,
Никогда уже —
Человеком.

* * *

Дождь принимался восемь раз,
Ходили тучи кругом,
И куст сирени, накреньясь,
Глядел на них с испугом.

Как будто сумерки сошли
В полдневный час с небес, —
Качались мальвы и сочли,
Что куст сирени — лес.

Вьюнок ограду оплетал,
И гибкий дух его
Завидовать не уставал
Двум мальвам... Ничего

Не замечая на пути,
Дул ветер, тучи гнал.
Начало фразы упустил,
Конец не разобрал.

Альбомное

Придет бродяжка, постучит в окно,
Пригубит руку с миной виноватой, —
И станем пить незрелое вино,
Друг друга изучая воровато.

Не прост мой гость: дурачится, юлит,
А волчий глаз, как счетчик, все мотает.
В ладошку пепел со стола сметает
И прелести печати мне сулит.

Он говорит, что нынче я пишу
Куда сильнее, чем раньше я писала...
А я капусту яркую крушу,
И щи варю, и нарезаю сало.

Да полно врать! Послушай, полубог,
Обед готов. Вот хлеб тебе и ложка.
Прости, мне кажется, что твой рассказ — лубок,
Раскрашенный, да гаденький немножко.

И бабья жалость не замедлит стать
Первее женского пронзительного зова.
Так съеден суп? Какая благодать!
Теперь приступим к поеданью слова.

* * *

Затаилась любовь:
все ей не то
все ей не те

И не глядит ни на что,
И ничего не услышит,
В рот не возьмет ни куска,
Руки ни к чему не протянет, —
Только вот с запахом ей ничего не поделать —
Сам заползает, смущая сознание и волю.

Пахнет дорога и сажа, гудрон и резина.
Пахнут поганки, блюстителы фармакопей.
Розу не трогай! К жасмину не вздумай идти!

Пахнет рубашка, ромашка, рыбешка, ракушка.
Пахнет разбитая дыня, белая стружка.
Гарью, грозой, грилем, гнилью, горчицей, —
Не защититься!

Дух безбилетник, учти!
Учти, беспризорник!
Тут не уймешь, не усовестить и не предъявишь!

Между вагонов, на крыше, в тамбуре, где-то под лавкой.
Где он прописан, скажите на милость,
В нашем курьерском?!

Полна свекольной обиды сумочка-сердце.
Под кукурузным дождем, как под причастьем стоим, —
Далее — что?..

* * *

В тебя — за тобой,
Как в пруд за ракушкою царевной,
Которую только открой перочинным ножом
Или маминой шпилькой
И выброси скользкое тесто,
Но только не в воду,
Но только не в воду,
Чтоб там под рукой не попало,
А прямо на берег,
Попахнет и перестанет.

В тебя — за тобой,
Как в ночь за мелькнувшим и тут же

ЛАРИСА ФОМЕНКО

Бедуин у озера Тартар

Волны плывут караваном,
Сами не зная куда.
Солнце последним титаном
Падает в Тартар —
Краснеет вода.
Воздух замер
В благоговении перед смертью.
На берегу — бедуин:
Профиль острее ножа,
Пастух смерча,
Сторож руин,
Поводырь миража.
Прибой трется о ноги кротко.
Бедуин — парус невидимой лодки,
Весь от кончиков пальцев
До белой одежды
Наполненный ветром полудня,
Покровитель скитальцев,
Надежда
Плутов и блудней...
Тартар — о жизни мольба,
Горькая, мертвая пучина.
Тартар — судьба
Бедуина.

Небо

Небо сплющено тучами о плоские крыши.
В море уткнувшись лицом, еле дышит,
Цепляясь за берег влажной рукой.
Как надуман покой
Предстоящего дня.
Мысли с неба бегут, возвращаясь в меня.
Небо сплющено о плоские головы.
Застывает облаков жидкое олово
День к привычным оковам готов.

В голове —
Столько рабских слов,
Тяжелых и вязких, как тучи.
Мальчик Мохаммед учит
Словам,
Легким, словно свобода.
Он учит, как надо
По низкому лбу небосвода
Подниматься все выше и выше
И опускаться на Землю — в себя.
Небо совсем еле дышит,
Ладонью песок теребя.
Самолеты взлетают легко.
До заката еще далеко.

Закат

Мякоть неба нежнее спелой папайи.
Черные зерна вороньей стаи...
Безгрешна папайи плоть,
Как райский плод,
Не телу, душе —
Этим плодом кормиться,
А ворона смерть не возьмет,
Все знают, что ворон —
— Бессмертная птица.
Девочка доживет до свадьбы вряд ли.
Старик считает дирхемы рядом.
Прилив намывает песок.
Мальчик Мохаммед твердит,
Что у него в душе — Бог.

Куда улетели фламинго

Ольге Чугай

В белом заливе утром бродили птицы.
Розовые, как память о свете заката.
Память не знает,
Что такое утрата,
Не знает, как бывает непросто проститься
С красотой,

Промелькнувшей вблизи и вдали.
Скажи мне, Али,
Куда улетели фламинго?

Цапли любят гордо собою,
Расправляя клювом серые перья.
Память не знает,
Что такое потеря,
Не знает,
Как не просто расстаться
Даже с болью.
Даже с этим клочком незнакомой земли.
Скажи мне, Али,
Куда улетели фламинго?

Людам овал безупречный лица
Дается, как правда пророкам.
Ты был прав до конца,
Что собрал совершенство по крохам
У загадочных рас,
Но сегодня от нас
Улетели прекрасные птицы.
Как бывает непросто проститься!
Серые цапли кричат в нашу честь.
Память у нас еще есть...
И боль,
И клочок незнакомой земли.
Скажи мне, Али,
Куда улетели фламинго?

Ночь в Багдаде

В доме хранится прохлада,
Как тепло в очаге,
А за стеной
Ночь расточает зной ледяной
Летнего ада.
В доме хранится прохлада,
Как тепло в очаге,
Но ее не удержишь в руке,
Как дирхем не подашь
Виновато.
Сложен из пальмовых листьев шалаш

У ограды.
В доме хранится прохлада,
Как в сосуде вода.
Знает каждый,
Что шалаш не спасает от зноя и жажды,
Лишь от черного взгляда
И от стыда бездомного сна
Он укроет.
В шалаше — трое.
В доме — я одна.
На столе — от бессонницы яд.
В шалаше спят.
Дышит ночь еле-еле.
Сон хранится в измученном теле,
Как тепло в очаге,
Но его не удержишь в руке,
Не подашь, словно хлеба кусок.
Розовеет восток.
Голос птицы охрип.
В траве шуршит скорпион.
Слышен скрип или стон.
В доме — страх.
В шалаше просыпается старый феллах
И глазами растерянно ищет,
Кто здесь нищий.

Как меня лечили от бессонницы

Не расколоть скалу волне
И Солнцем не бывать Луне,
Как ей в ночи ни розоветь.
Закрой глаза, чтобы прозреть.
Забудь про прежнее житье,
Не верь, что ты имеешь все.
Тебе останется для сна
Лишь мысль
О том, что ты одна
И не видна,
И не слышна,
Кому-то что-то
Не должна,
И без заслуг, и без вины,
Как этот нищий у стены.

Представь себя такой —
Тогда придет покой.
Закрой глаза, чтобы прозреть.
Своя у каждой рыбы сеть,
Кому же в сети не попасть,
Того найдет акуля пасть.
А в тебе звезд вокруг не счесть,
Но звезды сторожат мечеть,
И не узнаешь все равно,
Что нам дано и не дано.
Забудь про прежнее житье.
Поверь, что ты имеешь все,
Как тот, кто вдруг за весь наш род
Счастливым самым прослышет,
Как тот, кого сквозь сердца дрожь
Несчастливым самым назовешь.
Тебе останутся для сна:
От чьей-то смерти — тишина,
От чьей-то жизни — страшный миг,
От чьей-то веры — целый мир,
От вечности — покой.
Представь себя такой.

Ветер

Ветер подул, ветер подул!
Абдулла, ты колдун.
Когда показались в воде спины акул,
Как напряглась твоя рука!
Ветер в глаза мне швырнул
Полные горстки песка.
Твое лицо становилось все строже —
Море покрылось рябью от дрожи.
Ветер крепчал, сатанея от воли,
Ветра было больше, чем надо.
Все вокруг скрежетало от боли
И досады.
Море тряслось от безумного смеха,
И металось растерянно эхо...
Ты колдуешь с утра,
Ты глаза закрываешь устало.
Нет, еще не пора —
Ветра мало.

Нужно небо приподнять на руках,
Чтобы ветру кружить на просторе.
Не учи меня, как...
Нужно выбросить в море
Семь зеленых камней,
Чтобы выползли змеи
Из расщелин в скале.
Я умею...
Как я раньше жила на Земле
Бесконечные годы...
Мне осталось полшага до полной свободы.
Помоги мне узнать эту самую малость,
Помоги, Абдулла, мне немного осталось...

Безветрие

Воздух выцеживал свежести капли
Из прилива и зелени хилой.
На дряблую воду ложились цапли
Стоять не в силах.
Бугенвиллии не шевелили бумажными ветками —
День был болен безветрием,
Мутным июнем.
Горы дышали горячим туманом.
Безветрие застыло на дюне
Быстрым вараном,
Остановленным кем-то на бегу.
Безветрие было тенью твоей на берегу...
Кому ты желаешь зла, Абдулла?
Ты смотришь в сторону.
Безветрие было вороном
С клювом, раскрытым от жажды ветра.
Я жду ответа.
Усмешкой, отпущенной мне на минуту,
Движением бедер, затянутых футой,
Мельканием четок в черной руке,
Сиянием раковин в мокром песке
Дай знак, что кончается злая игра.
Кому ты желаешь добра?
Безветрие было
Покалеченной морем самбукой,
Дельфиньим трупом
Без глаз.

Дай мне руку
И скажи, почему, когда мне трудно,
Тебе легко каждый раз.
Последние капли свежести
Достались тебе целиком.
Безветрие было моим невежеством
И твоим волшебством.

Все так просто

Кошки живут правдами, как львы,
Без трусости и обмана.
Люди боятся дурной молвы
И пустого кармана.
А еще боятся себя чуть-чуть.
Да хранит их Аллах!
За долгий путь
Ахмед забыл, что такое страх.
Сладко поет муэдзин,
Точно в бреду.
Ахмед живет один
У всех на виду.
Открылись ворота со стоном —
Ахмед — сторож.
Люди приносят сахар, чай, мясо,
Говорят мягко,
Разрешают детей подержать на руках.
Да хранит их Аллах!
Все так просто,
Когда сходит гордыня с души, как короста.
Арбузы летом —
Теплые, как детское тело.
Сыновья гуляют по свету где-то —
Это их дело.
У молодых — столько забот и утех,
Все ищут лучшего,
А Бог, он один для всех,
Для мудрого и заблудшего.
Вечер не просит у ночи отсрочки,
Погружаясь покорно во тьму.
Ахмед плачет от жалости к дочке,
Которая не пишет ему.

Взбалмошный дикий прибор,
Недоволен собой,
Что то унес,
Что-то вынес на прибрежный песок
И сразу устал.
Мокрые водоросли волос
Прячут нежный, как жабры, висок,
Расцарапанный о шершавый коралл.
Сохнут руки-плавники.
Рядом волны шуршат виновато.
Солнце сбилось с пути
И не может найти
В море место заката.
Там у крутого обрыва
Отпевают улов рыбаки;
Те, кто не старше шести,
Знают: я рыба,
Я быстрая рыба-макрель,
Что разбилась об острую мель,
Рыба, которую все величают
Королевой,
Не споря,
Но отторгнутая от чрева
Могучего моря,
Она никому не нужна, кроме чаек.
Трепещет, как жабры, висок.
Шевелю губами,
Ластами ног
Подаю знаки.
Те, кто не старше шести,
Знают сами:
Они чайки.
Сейчас слетятся
Не заклевать, а спасти
Криком, похожим на эхо
Печального смеха.
Кто-то льет холодную воду
На раны разбитой руки,
Чтобы вскоре
Выпустить на свободу
В теплое море.
Ноет рука.

Рыбаки
Поднимают меня с песка,
Как вынимают из сети.
Уносят к лодкам.
Расходятся дети
Разочарованно, кротко...

Сказка о черной ночи

Света едва хватило
На звезды и то не очень.
Звезды мерцают, не в силах
Справиться с мраком ночи,
Проятся прочь
Раствориться в радужной ауре дней.
Нет ничего черней
Неба в безлунную ночь.
Может быть, что-то видней
Горам во мгле?
Горы, что жмутся к земле,
Еще черней.
Мрак
Сползает по склонам,
Чтобы сгуститься в глине долин.
Страх
Взлетает со стоном,
Чтобы вцепиться в камни вершин.
Плачут шакалы:
Какая напасть!
Мрака мало,
Чтобы проклясть
Род птичий —
Жадный орел не оставил добычи,
Не выдал секрета отваги.
Нет ничего чернее влаги,
Которую ночью из каменных гор
Пьют пересохшие губы корней.
Дом у подножия черных гор
Еще черней.
Снаружи — черные стены,
Внутри — черные вещи.
Стекла в окнах блестят зловеще,
Словно глаза гиены.

Снится дому запущенный сад,
Не из деревьев, из черных пней.
Окно, за которым спят,
Еще черней.
Люди видят рассветы во сне,
Не подвластны ночной тишине,
Слышат светлые звуки,
Но руки
Неуклюже
Держатся за кровать,
За спящее рядом тело,
Чтобы ночь не сумела
Всосать
Сонные души
В тот черный ад,
Где ни один предмет
Не излучает свет,
Не отбрасывает теней.
Окно, за которым не спят,
Еще черней.
Заглядывать в это окно
Даже ночь боится,
Боится увидеть лица,
Которым уже все равно,
Надолго ли свет угас.
Нет ничего чернее глаз,
Из которых бессонно сочится тоска.
Нет ничего черней
Твоего зрачка,
Что застыл без движенья
Невдалеке.
Нет ничего черней
Моего отраженья
В твоём зрачке.
Воздуха нет.
Вдох все длинней,
Выдох короче.
Не разгадает серый рассвет
Черную тайну этой ночи.

Отлив

Берег цвета запекшейся крови
Встал, как раненый зверь, на дыбы.

Волны в море поохали кротко,
Но не стали гневить судьбы...
Берег бешеной злобой томим —
Небо в гневе Земли приказало:
Скалам —
Вылизать раны самим,
Морю —
Сказки рассказывать скалам.
Недоступной богиней двуглавой
Над вершиной плывут облака,
Лапы гор, обожженные лавой,
Спотыкаясь бредут сквозь века.
И не чувствуют мудрые горы,
Что глаза им повицлевал ворон,
Добрый ворон,
Чтоб им не узнать никогда,
Как рыба нашла,
Где поглубже вода,
Как ветер унесся
К холеным холмам,
Как горе не делится
Пополам,
Как делит рыбак
Свой убогий улов,
Как правда распалась
На тысячу слов,
Как яд добывают
Из листьев и трав,
Как ложь собирают
Из тысячи правд...
Мальчик Мохаммед сказал: Пора,
Прозреет гора.

Заклинание Джулио Ванини

Да, я боюсь смерти, Ваше Преосвященство,
Но какое это имеет отношение к Истине?

Джулио Ванини.

Перед сожжением.

9 февраля 1619 года.

Тулуза

ПЕРЕМЕШАЙТЕСЬ, ПЛОТЬ И ДУХ,
В сосуде жизни
Непрозрачном.

Как ни безмерна суть твоя,
Как ни сложна и многозначна,
Не будь к земному слеп и глух,
Сожмись, о Дух!
Свободу втисни
В скупые рамки бытия.
Плоть, наказание и награда!
Что ты слаба и угловата,
Уже не верь и будь нескромной —
Представь себя, как дух, огромной.
Не бойся небом стать отныне,
А ты, о Дух, смири гордыню:
Землей, хотя б на время стань,
Но не считай себя в изгнанье,
Не плоти отдавая дань,
А бесконечности познанья.
ПЕРЕМЕШАЙТЕСЬ, ДУХ И ПЛОТЬ!
И пусть меня простит Господь
За то, что Дух постигнет участь
Узнать шершавость и сыпучесть,
Как это знать дано руке,
Руке, что вечно на песке
Возводит города и страны
Так трудно, словно на века.
Но знает о тебе рука,
О Дух, не больше, чем о ранах
И воспаленных вспухших венах,
Что просят жадно, откровенно,
Плоть к новым подвигам готовя,
Все больше сытной жирной крови.
ПЕРЕМЕШАЙТЕСЬ, ДУХ И ПЛОТЬ!
И пусть меня простит Господь
За то, что Дух увидит сам,
Как видно выжженным глазам,
Свое разительное сходство
С юродством плотского уродства
Лиловых лиц вокруг костра,
Орущих, что давно пора
Начать веселый Страшный Суд,
Лиц, что рыдают и жуют
Плоть вместе с Духом без стыда
Сквозной дырою вместо рта.
ПЕРЕМЕШАЙТЕСЬ, ПЛОТЬ И ДУХ,
И оба превратитесь в слух!

Пусть мой колючий ржавый плач
В него, как гвоздь, забьет палач!
Чтоб груз последний сбросить с плеч,
ТЫ ДОЛЖЕН, ДУХ, СЕБЯ ПОДЖЕЧЬ.
Сгори, как я, сейчас дотла,
Раз ты теперь причастен к плоти.
Представь, что ты уже зола,
И, покорясь своей природе,
Воскресни в чистоте былой,
А плоть останется золой.
Но та, что все еще жива,
Свой долг и жалкие права
Покорно не отдай золе,
Твори веками на Земле,
Не видя Вечности лица,
Бессмертье Духа до конца!
О люди, Истину не мерьте
Звериным жалким страхом смерти!
Я буду до последней искры,
Как Дух, прозорлив, смел, неистов,
Как плоть, от боли слеп и глух,
КРИЧАТЬ: ЕДИНЫ ПЛОТЬ И ДУХ!

Сон в Толедо

Глухо бьют каблуки о подмостки,
Как в боевой барабан.
Бой гудит, как вулкан.
Души жестки.
Сабли остры.
Пестры одежды.
У мавров нет надежды.
На колени, враги, на колени!
В Толедо на сцене
Кончается бой.
Возьмите меня, кастильцы, с собой!
Я давно готовлю побег
В тринадцатый век.
Здравствуйте, гранды!
Я донья Фернанда...
Не узнают. Не та осанка.
Не та посадка
В седле.

Не та походка по земле.
Простите, гранды!
Я служанка доньи Фернанды —
Она меня знает с детства...
Не узнают. Не то кокетство.
Я жена виноградаря из-под Кордовы,
Пройдите в наш сад
Отведать крестьянского крова,
Вина, прозрачного, как слеза...
Не узнают. Не те глаза.
Чертовы,
Что в миг отрезвят хмельного
Трезвого — опьянят.
Вы что-то спросили?
Я монахиня из Севильи.
Вы смотрите с презрением.
Говорите, не то смирение...
Подайте нищенке десять песо!
Вы уходите. Кончилась пьеса.

ЮЛИЯ ПОКРОВСКАЯ

Выбор

Дорога на Голгофу начиналась
на ровном месте.
Так я полагаю,
хотя не проходила этот путь
и никогда не приближалась к сферам,
распятием и муками чреватых.
Но знаю, что довольно пустяка.
чтоб чаша перевесила другую,
пространство искривилось,
жребий выпал...
И путь открылся —
тот
или другой.
И тот пустяк,
безделица,
песчинка,
которые нарушат равновесье,
и есть наш выбор.
В нем и есть свобода.

* * *

Черносмородиновый куст,
растущий у ограды,
и старый дом, забыт и пуст.
Не здесь ли были рады
когда-то девочке одной,
как цапля, длинноногой?
Она любила за водой
ходить своей дорогой.

В колодце плавала звезда,
на ветке птица пела,
и время выпасть из гнезда,
как ягода, созрело.

А здесь тоска о ней жила,
не зажигая света.
Но той, которая ушла,
откуда знать про это?

Отрывок

Последние дни сентября
сгущались, как черные тучи,
в предвестье беды неминуемой,
украденным счастьем коря.
Кому это было угодно,
не знаю, но время текло
расплавленно, словно стекло,
и брызги летели свободно,
и лучших из нас обожгло.

Ограда Цветного бульвара
еще охраняла права
влюбленных.

Но странная пара
была ни жива, ни мертва.
Прощание так затянулось,
что оба не чаяли, как
им петлю ослабить.

Очнулась
она и сказала: «Итак.
Итак, в самом деле разлука...»

А дальше не видно ни зги,
а больше не слышно ни звука.
Но вы на помине легки,
и, может, остались поныне
легки на подъем,

и гора
не так высока, как гордыне
и страху казалось вчера.
Откуда мне знать?

Розовея,
закат подоспел, не спеша.
И клином сходилась аллея
в том месте, где билась душа.

* * *

О, если бы сгорали со стыда!
Тогда бы я обуглилась
и с глиной
смешалась бы под проливным дождем,
не доходя Петровки и Неглинной.
Но это вздор:
все можно пережить
и жизнь перенести, как носят воду
из дальнего колодца в темный дом.
И оправданье выдумать в угоду
и на потребу совести потом.

Читая стихи

Я книгу начну с середины
и в оба отправлюсь конца,
чтоб вылепить, будто из глины,
подобье живого лица.

Не так уж важна подоплека
и то, что стоит за строкой.
Всегда ли, взлетая высоко,
душа остается собой?

Забудем минуты паденья,
и слабость, и страх, и грехи
того, кто в момент откровенья
такие расслышал стихи.

И что мне портретное сходство,
когда проступают черты
такого родства и сиротства,
такой правоты и тщеты?

* * *

Облетает листва.
Время катится в тартарары.
Замечает бульвары и скверы, сады и дворы.
Облетает листва.

Эка невидаль! Что за беда? —

Мне не скоро еще. Я жива и почти молода.

Я вообще не люблю этих пышных лихих мелодрам,
где надрыв с хрипотцой после ста или более грамм.
Этот хмель, эта охра,

горячечный лиственный бред —
ни надежды, ни смысла, ни выхода все-таки нет.

Только зарево красок,

как пир в окруженье чумы,
только пылкая спесь на пороге холодной зимы,
только блеф или миф,

милолетный, как мыльный пузырь.
А душа — не потемки,

на богом забытый пустырь,
занесенный листвою, осыпаемый снегом,
быльем,

как бурьяном заросший.

Но все-таки где-то на нем

еще светится точка, как будто мерцает свеча.

Тронь случайно рукой —

испугаешься: так горяча.

Ничего не пропало! Пошел нам на пользу и впрок
каждый потом и кровью у жизни добытый урок.

И уже невозможно пройти мимо жалоб и слез,
даже если надрыв не всегда принимаешь всерьез,
даже если сюжет узнаваем тобой наперед,
а судьба по пятам (как там помнится?)

с бритвой идет.

И зима на носу. Среднерусская стужа-зима.

Всем нам сдержанность тона

она продиктует сама,
и раскинет вокруг — на две тысячи видимых лет —
эту снежную гладь: свет и тень,

тень и свет,

снова свет.

Воспоминания об Арбате

...Собачья старая площадка
от нас была невдалеке,
как будто длинная перчатка
на расстопыренной руке.
Тянулись пальцы-переулки,

й, словно на призывный зов,
сюда водили на прогулки
ленивых раздобревших псов.

А их владелицы клонились
все ниже, шаркая в пыли,
и незаметно растворились,
на нет застенчиво сошли.
А вместе с ними исчезали
опрятные особнячки,
где нищие фасон держали —
крахмалили воротнички,
прилежно штопали одежду
и не теряли никогда
ни бодрость духа, ни надежду,
ни отблеск Страшного суда...

Арбат! Он был, как государство,
ревнителем своих границ.
И вечерами это царство
не знало незнакомых лиц,
как будто к улице столичной
пристало что-то от села
или околицы станичной,
куда родня гулять пришла.
Подумать только! Четверть века
я на Арбате не живу,
но и теперь во сне зову:
Арбат, Арбат! — И слышу эхо
и гул далеких голосов,
и детский лепет свой,
и грозный
пульс времени под тканью звездной,
чуть смявшейся у полюсов...

Но каждый день непоправим.
И столько нет!

И нет Арбата...

И я как будто виновата,
хотя чем дальше — ближе к ним.

В чистом поле

Вот лежит это чистое поле,
голубых под луною кровей —
приходи разгуляться на воле,
снегопад, снегодуй, снеговой.

Заводи свою жалобу, вьюга,
затяни свою песню, пурга.
Будто ищут смертельного друга,
закадычного кличут врага.

Где здесь половцы, где печенег?
Далеко ль Золотая Орда?
Так печально о вешем Олеге
этой ночью гудят провода.

Все так близко и так неделимо,
что не скажешь наверняка,
облака ли проносятся мимо
или ветер торопит века?

Ну а я-то, какими судьбами
избежавшая небытия,
что скажу вам своими словами,
что скажу в оправдание я,

если только теперь начинаю
эту жизнь, как закон, понимать?
Целина без конца и без краю,
и ее до конца поднимать.

Но бескрайние эти равнины
не обнимет ни голос, ни взгляд.
Все стирает — и беды, и вины —
снеговой, снегодуй, снегопад.

Полнолуние

Остановись, беспечный пешеход, —
непоправимо было б разминуться.
Уже луны летающее блюдо
вползает в полукружие ворот,

над головой зависнув, дребезжит
и обдает таким нездешним светом,
что слово остается за поэтом,
пока ученый тайну сторожит.

Я, как в воронку, втянутая в ночь,
в перипетии звездных разговоров,
ведущихся как бы с церковных хоров,
их магии не в силах превозмочь.

Все кажется: переступи черту —
и обретешь иную точку зренья,
и в магниевой вспышке озаренья
нащупаешь иную высоту,
чтобы, на жизнь взглянув издалека,
понять ее, как Будда и Йегова,
и с облаков сойти на землю снова,
как боги в позабытые века.

Но что-то есть порочное в мечте,
стремящейся от почвы оторваться:
лишь человеком человеку зваться
пристало во вселенской пустоте.

И если испарился дух любви
и нету никакой другой опоры,
с протянутой рукой идти нам впору,
и ты как хочешь это назови.
Я все отдам за то, чтобы в толпе,
как в юности у Старого Арбата,
плечо заметить друга или брата
на жизненной извилистой тропе.

Не торопись исчезнуть, пешеход,
мой вечный незнакомый собеседник.
Любой из нас — законнейший наследник
всего, что сам впитает и вберет.

Посмотрим же спокойно снизу вверх
на эти звезды и на эти дали.
Мы оба в жизни столько повидали
миражей дивных, и эпох, и вех.
Нам ни к чему соблазны высоты,

нам незачем стремиться в эту Мекку...
А человек — он равен человеку,
и с ним не стыдно перейти на «ты».

* * *

Пока не прокричал петух
о том, что время на исходе,
покуда в сердце не потух
тот огонек, который вроде
не греет, но и не дает
чурбаном стать оледенелым,
живу себе на свете белом
и даже оторопь берет,
что до сих пор, наткнувшись где-то
на проблеск бледного рассвета,
замру, как будто в перый раз
увиджу таинство сейчас.
Как будто не было в помине
ни лжи, ни мыльных пузырей
надежд, ни каменной пустыни,
ни шабашей нетопырей.
Как будто в эмпиреях жили,
дыша дурманом и травой,
и ангелы над головой,
как птицы белые, кружили...

Замру, застыну, оробев,
на краешек бревна присев.
И будто грежу наяву,
и подмосковную траву,
затоптанную и сухую,
еще секунда — поцелую.

Да будет так, пока живу!

Июльский полдень

Водомерки скользят по зеркальному глянцу паркета,
крылья юных стрекоз — как прозрачный наряд балерин.
Это медленный вальс, заповедная музыка лета,
сокровенный напев луговых и лесных окарин.

Это полдень. И солнце победно сияет в зените,
и качаются кроны, как мачты больших кораблей.
Через весь окоем к нам невидимо тянутся нити
с силовых и магнитных и просто — с цветущих — полей.

Медуницы коснусь осторожно влюбленной рукою —
и слетит на ладонь, как птенец несмышленый, —
пыльца.

В книгу Царств мы плывем или в вечнозеленую Троию?
В Дантов круг или просто —
в продымленный округ Кольца?

Да не все ли равно, если в этом редчайшем июле
миром правит любовь, кружит головы, сводит с ума?
Это токи ее, это волны ее захлестнули,
сбили с ног нас обоих на ласковом склоне холма.

* * *

Устала.

И сон, как нарочно, нейдет,
и движется тень по гардине.
Твоими устами пила бы я мед,
которого нет и в помине.

Я помню:

рука не коснулась волос
и губы к губам не прильнули.
Но жалобно лаял встревоженный пес,
и дома в ту ночь не уснули.

И улица нас принимала тайком,
но не захотела продлиться,
остаться на миг под моим каблуком,
а после — неделями сниться...

Я снова вхожу в полукружье ворот,
в асфальтом обиженный дворик.
Твоими устами пила бы я мед,
я помню, как вкус его горек.

* * *

Кромешные пути —
тупик за тупиком.
И как тут ни крути,
а в горле снова ком,

хотя казалось ведь:
привыкли ко всему,
как цирковой медведь
к подачкам и ярму.

Но хоть реви, хоть вой,
а все нехороша
для участи людской
звериная душа.

* * *

Из черных космических дыр,
из грубых вселенских прорех
высовывал щупальца мир,
чужой и пугающий всех
птенцов — обитателей гнезд,
что свиты из света и тьмы
на ветках единственных звезд
среди неподвижной зимы.

Но каждый мелькнувший фантом
догадку рождал и вопрос.
Комета виляла хвостом,
как к ласке приученный пес.
Галактики пестрой толпой
теснились на задних дворах,
дразнили подсказкой скупой,
мороча на первых порах.

Но гордый поэт-звездочет,
чутье обостривший во тьме,
все мелочи принял в расчет
и бережно нянчил в уме,
чтоб как бы случайно обнять
скопление чудовищных числ

и разумом детским понять
и замысел тайный, и смысл.

* * *

От бесчисленных слов ничего не изменится в мире:
ночь не станет светлее и кошка не выпустит мышь,
так же будут расстреливать
в каждом безжалостном тире
птиц, зверей и дома под ладошками набожных крыш.

Я дитя обманула: «Не бойся, мой милый, я рядом...» —
Пусть не знает, что мы в эпицентре всех адских
стихий.

Каменею теперь под доверчивым любящим взглядом
и, как дятел, долдоню, ладони сложив: «Не убий!»

Да неужто опять мы вернемся к тому же началу:
растворимся в воде, чтобы вновь из нее выползать,
и цепляться за берег клешней или лапой трехпалой,
и нечистую соль языком воспаленным лизать?

Да неужто тогда лишь становится значимым слово,
если некому слушать его и в ответ говорить,
и всеведущий Бог в день шестой будет снова и снова,
обрекая на муки, любя, человека творить?

ЕЛЕНА ДУНСКАЯ

* * *

Все пустяки. Все просто ерунда.
Но только знать хотелось бы, куда
Ведет дорога. А над ней звезда
С другой звездой говорит доньше:
Зачем стихи слагаются, когда
Что ни душа — то склеп или пустыня.

На кладбище несбывшихся надежд
Пестрым-пестро от праздничных одежд.
Опять зменится очередь в Манеж
На вечный «кич», на нового кумира.
Все ярче зрелища и все преснее хлеб.
Чума отныне стала частью пира...

Прости меня, я, кажется, брюзжу,
Занудствую.

Но страх в себе глушу,
Когда с недоумением гляжу
На чахлый серпик, что в ночи дымится.
А звездам этим, видно, сносу нет.
Смерть — на бегу.
Любовь — «а ля фуршет»...
Век на закате.

А судьба все длится.

* * *

Еще ничего не случилось
И в доме крепка тишина.
Но что-то уже просочилось
В глухой репродуктор окна.
И вязкие тени предметов,
Ночной пластилин темноты,
Вдруг стали точны и конкретны,
Обыденны, ясны, просты.
И силою неодолимой
Рвануло с постели к окну...

Там резалась неумолимо,
Так зуб разрывает десну,
Так режет — внатяг — парусину
Соленого шторма страда...
Там резалась неотвратимо
Сулящая беды звезда.
Она по-хозяйски глядела
И по-деловому цвела.
Как будто бы все, что хотела
Поделать с планетой могла.

* * *

Все было, и прошло,
Как будто не случилось.
Надежда в дверь стучалась.
Все было, и прошло.

Дорогу занесло,
И предсказанья лживы.
Все было, и прошло,
А мы с тобою живы.

Ах, если б да кабы —
Надежда захотела,
И перышко судьбы
Вдруг на ладонь слетело...

Что было бы тогда,
Случись такое с нами...
Теперь не знаем сами,
Что было бы тогда.

* * *

Пускай я о тебе одно лишь только знаю:
Ты — дерево.
Но я — я тоже — человек!
Ты протяни мне лист.
Тебе я нагадаю
Протяжный зимний сон
И лета долгий век.

И с нами ничего худого не случится,
Покуда легкий пар клубится над водой,
Покуда снег идет.
И быстрая синица
Садится хлеб клевать на детскую ладонь.

В болгарском городе Несебре

I

В городе древнем и чудном,
Словно раковина морская,
Женщины в черном
На улочках узких
Плетут бесконечный узор —
И опять распускают.

В городе древнем
Вечер последний
Зажжем мы с тобой,
Словно свечку.
Над черным прибором
Молча закурим,
Дым заплетая в колечки...

И все еще с нами,
И можно потрогать руками
Три знака жизни:
Дерево,
 море
 и камень.

II

Прости меня, жизнь.
Я забыла, что ты коротка.
И вот ухожу,
Пригубя,
Но не сделав глотка.
Был остров.
Был город.
Но время
За нашими спинами тает.

Лишь клин журавлиный
По бледной щеке небосвода
Торжественно, ;
Медленно,
Плавно
Стекает...
Город, город!
Что мне до него,
А ему до меня,
Когда не осталось в копилке моей
Даже лишнего дня?..
«Когда я вернусь, —
Все твержу и твержу наизусть, —
Когда я вернусь...»
Я уже не вернусь никогда.
Над городом спящим
Зеленою кровлей — вода...
Но кровные звенья .
Якорной крепкой цепи,
К соленому солнцу прикованной, —
Не разорвать никогда.
Спи,
Форпост македонский,
Глядящий в простор океанский...
Мельничный ветер...
Морская проточная ночь.

III

Я в городе чужом ловлю чужую речь.
И по слогам учу язык ночного моря.
Но чем его могу я, нищая, привлечь?
Прощения молю болгарским словом «моля».
На стершихся камнях двусветная печаль,
Как будто мох, шаги мои глотает.
Знакомое лицо
Отвесно, как судьба,
Из кладки кирпича
Упрямо прорастает.
Над морем в сентябре поет июльский зной.
И пестрый пляжный шум журчит и усыпляет.
Но журавлиный меч над морем занесен.
И плавным острием вдруг сердце разрезает
Озноба быстрый свет,

Тепла последний след...
Когда-нибудь потом
Придут издалека
Ленивый теплый вкус чужого языка,
Полет прозрачных рук
Над чернокрылым лбом,
Ребячий вздох песка...
Когда-нибудь потом
Пойму,
Что никогда душа не забывает
Всего,
Чем нас судьба так скупно наделяет.

* * *

Будет все, словно встарь, будет все, словно встарь:
И зеленый букварь на дубовом столе,
И насупленный, вечно в простуде, январь,
И всегда по утрам рот у печки в золе.
Будет все, словно встарь, будет все, словно встарь!
Репродуктора

 черный, таинственный лик.
И высокий, печальный, сутулый старик
Все листает потрепанный толстый словарь.
И забудется все.

 И припомнится вновь:
Фисгармонии старой горбатая тень.
Обжигающий чай. Голоса за стеной.
День забот.

 День удач с головой набекрень.
Именины и торт. Запах елки. И тот,
Кто был должен прийти.

 Но уже не придет...
Разлетелись страницы зачитанных книг.
Но у времени с памятью прочная связь...
Из щербатых аккордов сонату и вальс
Кропотливо и бережно лепит старик.

* * *

Уже мое тело не чувствует страха,
Когда обрывается вниз самолет.
И греет мне спину чужая рубаха,
И сердце ночами уснуть не дает.

Уже, подрезая поблекшие пряди,
Бесстрашно в зеркальную пропасть гляжу.
И не «вопреки» научившись, а «ради» —
Прилежно алфавит с дочуркой твержу.

Уже, полюбив все свои неудачи,
Считаю шаги. Не считаю года.
И зябких ладоней в карманы не прячу.
И «нет» говорю
Там, где хочется «да».

* * *

Уже смешно чему-то удивляться
И на судьбу щекою опираться,
Как на подушку, грезя наяву.
«Свой путь земной пройдя до середины»,
Однажды взвыть от боли загрудинной,
Ничком упасть в холодную траву.
Вот был — и нет.
Уж и лица не вспомнить.
Поминками последний долг исполнить,
Следя, чтоб все как надо — на столе...
А там — опять: подъемы и провалы,
То свадьбы назревают, то скандалы,
То лопаются трубы в феврале...
И зрелый свет над медленной рекою
Зовет напрасно к миру и покою —
Нам некогда в поток его глядеть.
Нам недосуг в потоке отразиться.
Задуматься. Вглядеться. Удивиться.
Жмут сроки, только поспевай крутиться,
Чтоб успевать...-

* * *

Еще зеленый свет, прохладное дыханье,
Шаги осенних снов лишь к вечеру слышней.
И клумба из окна, как вышивка на ткани,
Наивна и проста — и нет ее точней.

Еще роса светло горит перед восходом
На листьях и цветах, на камне и траве.
Еще гроза бредет угрюмым переходом
От сумрака к огню, от баса к синеве.

Как необъятна жизнь и как неистребима!
И никому из нас она не помнит зла.
Нет для нее чужих, ненужных, нелюбимых —
На всех хватает бурь, морозов и тепла.

Ракета в небеса вращается невесомо.
Хоры степных ветров свой дикий гимн поют.
И солнце, как корабль, висит над космодромом:
Сверкают паруса и в полдень склянки бьют.

Мы ходим по земле. Спокойно, кропотливо
И на прицел берем, и давим виноград.
И каждый рвется стать — хотя б на пядь — счастливей,
Тому, что просто жив, совсем, чудак, не рад.

Пора расслышать смех пастушьих колокольцев,
И, голову задрвав, прозреть в конце концов:
Так чисто и светло горит корона солнца,
Перекрывая блеск любых земных венцов.

* * *

Светило приближалось к апогею.
И лето к апогею приближалось.
А дерево вытягивало шею,
Как будто бы судьба его решалась.
И время в аппарате телефонном
Всем страждущим отмеривалось ровно:
За цифрой цифра.

Словно шифр в эфире,
Бесстрастный голос их произносил.
Миг тишины, как гробовщик на пире,
Смущенный, незаметно уходил.
И ангел, пролетая над столицей,
В распаренные вглядывался лица,
В отпущенные сроки уложиться,
Обязанный.

А где-то в стороне
Кудлатая выскакивала дива
Из-под колес невинно и игриво,
О завтрашнем не размышляя дне...
А возраст к апогею приближался.
Он петушился, он еще держался,
По-рыцарски за каждый день сражался,
Стремился время повернуть назад...
Но стрелки в бесконечных циферблатах
Кричали о бесчисленных утратах.
Июль кончался, словно срок проката,
И горше этой — не было утрат.

Все путем

Все идет своим путем —
Дождь идет. А за дождем
Снег идет. А вслед за снегом,
Расчищая путь побегам,
Все течет своим путем.

Все течет своим путем.
Жизнь течет. И мы плывем —
По своей, чужой охоте,
По теченью или против —
Все плывем своим путем.

Ну а если не своим,
Все ж на месте не стоим.
Время мчит, не убывает
И навек соединяет
Небеса и чернозем...

Время мчит своим путем.
Тень за светом.
Ночь за днем.
Как мы быстро вырастаем
И пускай не процветаем,
Но хоть раз, а все ж цветем...
Что ж, спасибо и на том.

Больница

I

Не случилось все это.
Не выла сирена в ночи.
Не металась по комнате
Длинные белые тени.
И не грызли лицо
Ослепительно-злые лучи,
И не падали хлопьями
-Старые добрые стены.

Не стучали часы,
Не свивалась змеей простыня.
И шаги не звучали по лестнице
Глуше и глуше...
Ах, как долго я сплю...

Поскорей разбудите меня,
Оторвите меня
От горячих и липких подушек...

II

Приходит тихая беда.
Не поздоровавшись, садится.
Из глаз больничный свет струится,
Как из поильничка вода.

Ее попробуй прогони:
Бессменней не найти сиделки.
Лекарства, лед, уколы, грелки...
За часом час, за днями дни.

И так заботлива беда,
Так неусыпна маета
Ее стараний над тобою...
А ты глядишь в окно пустое
На беспризорного кота.

III

Ах, сколько бы я ни просила,
Но память забыть не дает
Клеенку тяжелых носилок —
Короткий и страшный поход.

Привычно, легко, без нажима —
Как грузчики шкаф или стол —
Поглубже в пещеру машины
Задвинут и крикнут: «Пошел!»

И сколько бы я ни просила,
Но память стереть не дает
Клеенчатый страх,
Легкий запах бензина,
Бессильной улыбки полет.

IV

Проклунется ночная боль,
И я сквозь сон ее услышу.
Шепну:
«Не торопись, Позволь —
Еще денек. Еще годок.
Еще чуток подняться выше».

Я за собой, как за хвостом
Щенок — гонюсь.
Вот-вот достану.
Сначала я, а ты — потом.
Ты подожди, пока устану.

Ты спи.
А я постерегу.
Нам этой ночью не расстаться.
Я далеко не убегу.
Мне б только до себя добраться.

* * *

Л. Г.

Еще один путник, замерзший до срока,
Отрыт — и засыпан свежайшей землей.
Ну, как ты там нынче — у черта ль, у бога,

Прозрачный, притихший иль грязный, хмельной?
Кипишь ли в котле иль под сенью дубовой
Паришь в окруженьи любезных друзей?
Но час неровён — и в квартирке убогой
Откроется новый убогий музей,
Где старый диван и на стенке картина
Похожи на те, средь которых ты жил.
Но что значит та или эта квартира,
Когда ни черта ты в ней не сочинил?
Твой дом — переулки, дворы и задворки,
Ты их исчитал, иссидел, избродил.
Ты из иззубрил все — от корки до корки,
Ты здесь рифмовал, и любил, и кутил.
Тут, в мире обшарпанном, древнем и новом,
И тоже обшарпанном — ты обитал.
Ты здесь задыхался. Здесь мучился словом.
И ползал, как червь. И, как кречет, взлетал...

Знакомые строки летят по странице,
Как поздно. А все же — могли б и поздней.
И глянец журнальный, как свечка, дымится
Над неопалимой улыбкой твоей.

Звезда

1

Гори, моя звезда,
Держись на небосклоне.
Не упади, звезда!
Как хочешь, но держись:
Пусть светлый твой зрачок
В моем зрачке утонет,
Пусть на одном крючке
Нас крепче держит
Жизнь.

2

Усталость расплавит мои глаза —
И я тогда пойму:
Если отказывают
Тормоза —

Лучше быть одному.
И что б ни стряслось —
Моя беда,
И никто со мной
Не пойдет ко дну...
Лишь эта звезда. —
Но из нас двоих
Мне жалко ее.
Ее одну.

На середине пути

Еще не поздно все исправить,
Червонец к пенсии прибавить,
Собрачника переменить.
Построить дом. Посеять ветер.
Раздуть огонь роскошных сплетен —
Короче далеко уплыть.

Еще абстрактные понятия
И кровь пьянят, и греют ум,
Но все конкретней воспрятье,
Подробнее счет житейских сумм.
Еще вся жизнь — к услугам нашим,
Еще пожнем и вновь распашем,
Все неустройства устранив.

Еще концы с концами сводим.
Но неуклонно переходим
Из негатива
В позитив.

* * *

«Какое несчастье: нас бросил любовник коварный!»
Тоскливо пропел и промчался нескладный товарный.
Моя электричка-привычка опять не пришла...
И чьи-то глаза неотрывно глядят из угла.
Старушка с узлом. Неприкаянный серый пьянчужка.
От жизни огромной — шершавая, ломкая стружка.
Я с вами! Я с вами! Мне так же, как вам, хорошо...
Привстали. Присели. Теперь уже дальний прошел.

Живите, пичуги, летите...
Все тоньше, все хрупче души скорлупа
И в прошлое все неприметней тропа,
А ты, что ни год, то моложе.
Чеканнее строки забытых стихов,
Твой голос гортанный...
Во веки веков
Не встретимся больше.
А все же...

ЗОЯ МАСЛЕНИКОВА

* * *

Я пришла. И вы сказали — зря.
Зря я сквозь чашобу пробивалась
в тайный храм, где сердца небывалость
льет свой свет, как странная заря.

И в дорогу дали вы воды
вдосталь мне напиться у порога.
Но нельзя ж голубизну потрогать
горной затуманенной гряды.

А за то, что жажду и горю,
свет лоя неумолимой цели,
и за тех, чьи души уцелели,
вас и так всю жизнь благодарю.

* * *

Он за утраты жизнь боготворит.
До самой крохотной, последней капли крови
он раздает, и тратит, и дарит,
и наполняется с краями снова вровень.

За тем, чтоб мне в пустыне не пропасть,
следит из книг он строгими глазами,
и жаждущие могут к ним припасть
и утолить печаль его слезами.

Творчество

Создатель мною недоволен.
И Он осенней глины взял
и с красным лесом, небом, полем
во гневе все перемешал.

Он замесил состав руками
и, повелевши зубы сжать,
нетерпеливыми рывками
стал заново меня кромсать.

И вот я в неприросшей коже,
и к ней рабочий сор пристал,
а кажется, что стал похожим
портрет на свой оригинал.

Снегопад

Просторный лес, как мастерская,
и там не просто снег идет,
там просевают и таскают
нам матерьялы для работ.

Я в обученье у метели.
Мы лепим лик зимы вдвоем.
Из мрамора мы рубим ели,
подлесок гипсом обдаем.

Ее движенья дивно метки —
без колебаний, мастерски,
как на каркас, на ствол и ветки
ложатся быстрые мазки.

А в сумерки положит дали
на медленно кружащий щит
и все ненужные детали
без сожалений обобщит.

Пусть оттепель потом в потемках
произведенья унесет,
я все равно, как скопидомка,
вношу его на личный счет.

* * *

Пусть не жилец на белом свете,
пускай бессилён, и напрасен,
и безрассуден, и безвестен,
но взлет был все-таки прекрасен.

Вы к низверженью непричастны,
я это подтверждаю снова.
И завтра я пойду прощаться,
существованья рвать основу.

Уйду расчищенной дорожкой,
проводит лишь воронья стая,
как дворник в фартуке, пороша
за мной следы позаметает.

Когда-нибудь я вас забуду,
разбег мой будет загнан, задран,
но как я буду, чем я буду
дышать, проснувшись, послезавтра?

Музыка

Мохнатый куст ветвился, как коралл.
Голубиной земля соперничала с небом.
Подлунный сад приглушенно играл
осколками звезды, упавшими со снегом.

И потрясенный кто-то у окна
позвал меня неловко с непривычки,
и за меня ответила струна
ушедшей в ночь безлюдной электрички.

Настанет время, и растает сад.
Все подчинится жизненным призывам.
Но слившиеся ночью голоса
окаменеют, будто изваянья.

* * *

Хотя по вашему капризу
я добровольно умерла,
лучами страсти и тепла
весь лес по-прежнему пронизан.

Я стану всем, чем не была:
зеленой почкой, синей тучей
и под десницей могучей
смешаюсь с воздухом дотла.

Но в мысль о смерти входит грусть:
в вас я и там не растворюсь.

* * *

О. И.

Она сказала просто и легко:
«Я наврала ему, что с вами говорила».
О, Господи, Ты видишь далеко,
даруй его обманывать ей силы.

Не прекращай живительный гипноз,
пусть сохраняет силу наваждений
чад женственности, и духов, и поз,
повадки ангела, цинизм ее суждений,

не позволяй остынуть и пропасть
огню его любви осенней,
храни последнюю слепую страсть
от разрушительных прозрений.

На Каме

Цвела, как желтый розарий,
перед закатом река.
Мы надвое разрезали
небо и облака.

Спускали пихты вершины
к границе лимонных вод.
На солнце тушей звериной
наполз оранжевый плот.

И там, где недавно бурлило
правое колесо,
из Камы медленно всплыло
прекрасное чье-то лицо.

Но шалая лодка с уловом
размыла его в пятно,
и, словно нехотя, снова
оно погрузилось на дно.

Трудолюбивые плицы
отгаскивали пароход,
и двигались лишние лица
на фоне зеркальных вод.

Пастернаку

Я до сих пор от этих встреч в тумане.
Как молния, ударило в меня
плодоносящее существованье
и действие его на времена.

Присматриванье, вслушиванье, праздность.
Работа шла в обманчивой тиши,
и поражала целесообразность
в поте лица трудящейся души.

На поворотном круге даль вращалась,
земля преображалась на ходу.
Всем управляла вдумчивая жалость
ко времени, попавшему в беду.

Какое торжество постичь отчасти
ходов рабочих красоту и стать!
Ну что же, что отказано мне в счастье
хотя б винтом в движенье этом стать.

Я вижу потаенный смысл отказа
не в скупости и не в моей вине
— и мой завод наладиться обязан,
и это знак доверия ко мне.

* * *

С событий Ветхого Завета
не умолкает женский плач.
Хочу я в сад, где между веток
мелькает темно-синий плащ,

и конских глаз косая лепка,
и голос властвует глухой,

и он подходит, снявши кепку,
как пламя на ветру, живой.

Его внезапную улыбку
с утра здесь каждый кустик ждет,
но, челюсть выставив, в калитку
он снова к женщине уйдет

и, седовласый, длиннолицый,
смущенно взгляд метнет назад...
Я, кажется, могу молиться
о возвращенье в этот сад.

Отче наш

При выходе из метро
я опустила в автомат
двухкопеечную монету
и набрала наугад шестизначный номер.
Алло! Вы хорошо меня слышите?
Благодарю Вас за все!
Вы удивительно придумали мир,
и чудно, что можно самой
мне выбрать себе биографию
в соответствии с общим замыслом,
огромное Вам спасибо!
Меня внимательно выслушали
и тихо повесили трубку.
Я услышала короткие гудки.

На могиле Борисова-Мусатова

Спит мальчик на могиле горбуна.
На голый торс снежок легко садится.
Ему судьба завидная дана,
ему светло и вдохновенно спится.

Он розовый. Он вписан в синь Оки,
густую и тягучую, как деготь.
Воздушный лес закрыл изгиб руки.
Ему здесь хорошо. Его не надо трогать.

Горбун прекрасных женщин обожал,
бежал от них в туманные полотна.
Березами он их изображал,
Сиренью, ивами и гладью водной.

Он понимал, что жалок и смешон,
и обожаньем этим был раздавлен.
И вот он сам в Оку преображен,
и выпрямлен, и от горба избавлен.

И в знак преображения его
и торжества над смертью и судьбою,
как маленькое полубожество,
спит очень стройный мальчик над Окою.

Парикмахерская

Мода пошла на блондинок,
перекись нынче в ходу.
Преображенье осинок
осень свершает в саду.

Толстые липы толпою
в очередь тоже бегут.
Красят их рыжею хною
и под мальчишек стригут.

Судят их елки жестоко,
покачивая головой:
им ни к чему суматоха,
поднятая листвою.

Кленам придиричивый мастер
головы вовсе обрил.
Космами огненной масти
землю в лесу завалил.

Ветренник в сером халате
денно и ношно метет
желтые, рыжие пряди,
свищет и просит расчет.

Но и рябинок и елей
красные дни сочтены,
как ни вертись, а в метели
не избежать седины.

Скульптор

Движеньем вкрадчивым и длинным
он трогает сырую глину,
и человек мигает в лад.
Когда в самозабвенье грубом
он режет глиняные губы,
то губы теплые дрожат.
Модель и он уже боятся
его осатанелых пальцев,
разрядов, вспышек и толчков,
прикосновений и последствий
тут назревающих посредством
накладок, вмятин и мазков...

Лампа

Мокрая улица так темна.
Ни зова в глухую ночь, ни ответа.
И желтый квадрат твоего окна
не предвещает рассвета.

Ветер пронизывает насквозь,
но ты от него оградился стеною.
И вечер разводит нас снова врозь
с настойчивостью дурною.

До полночи ты не встаешь от стола.
Стихи заменяют меня, живую.
Соседняя занавесь тоже светла,
но я не ревную.

Опять мне, как видно, не спать до утра
и спорить с собою, тобой и судьбою.
Во всей этой ночи лишь лампа добра,
что делит свой свет между мной и тобою.

* * *

Слежавшийся, просевший первый снег
замусорен оранжевою хвоей,
и плавно, как бывает в полусне,
лиловый лес с твоим жилищем сдвоен.

Пространство нас с тобой не развело,
и расстоянье трудится впустую.
Мне тайнопись березовых стволов
о жаре и лекарствах повествует.

Ты слышишь — сук сломался под ногой,
и сосны головами закачали.
Я шлю к тебе осинник молодой,
чтоб утолил сполна твои печали.

Мир неделим. И в нем разлуки нет.
Твои следы на ледяной тропинке.
И падает на нас обоих свет
с больных небес, в которых ни кровинки.

Шуба

О, как ты мне пришелся впору!
Кто, по какому уговору
из шкуры и звериных жил
тебя по этой мерке сшил?

Нагую душу облачил
ты мне в меха горячей шубы.
Свои глаза, ладони, губы
ты, походя, в мои вживил.

Весь край и лад твой мне сродни.
В тебя я кутаюсь и в дни,
когда мы порознь, и похоже,
что снимешься ты только с кожей.

* * *

Хрустящий воздух колется, как лед.
На гранях солнце ломкое дробится.

День превращен в хрустальную гробницу
и ждет, чтобы замерзнувшая птица
упала камнем, оборвав полет.

Застыл одним кристаллом небосвод,
и ангелам сегодня нету дела,
что жалоба моя оледенела
и, обратившись в неживое тело,
упала камнем, оборвав полет.

Луга

Дни человека, как трава,
как цвет полевой, он цветет.

Пс. 102, 15.

Просвеченные солнцем травы
На вечеряющих лугах
Так явно просят в оправу,
В мозаику на витражах.

Я не сгребая их в охапку:
В руках окажется зола,
Рукам немедля станет зябко,
Как от содеянного зла.

Горят фонарики гвоздики
И колокольчиковы бра.
И мне подумать даже дико,
Что сенокос уж у двора.

* * *

И летом выпадает темный день,
когда деревья плачут втихомолку.
Тогда поймай хоть лучик и продень
его в простую швейную иголку.

Расшей цветным узором тусклый фон,
затейливым и прихотливым смыслом.
Смотри, уж загорелся старый клен,
охваченный воспламенной мыслью.

Своим дыханьем выдохни пион,
чей лик — как серафим крылатый,
и вместо солнца засветится он
в больничном сумраке палаты.

Да будет каждый вдох твой вдохновен!
Тогда откроется тебе в награду,
что в силах побороть ты сон, и тлен,
и скорбь, и тяготение к распаду.

Успенье

Успеть в тишайший день
в конце земного лета,
укрыться в полутень
от блещущего света,

уснуть, как пашни спят,
стерней укрывшись грубой,
пока не протрубят
архангельские трубы,

успеть, не опоздать,
на вечное свиданье,
как яблоко, упасть
на лоно мирозданья...

Как перезревший плод
освобождает семя,
душе покинуть плоть
приходит тоже время.

Сменяются, кружа,
итоги и причины,
и празднует душа
начала и кончины.

Растают облака,
но дождь опять прольется,
а время — как река:
течет и остается.

Под мерный плеск его
приходит вновь Успенье,
а значит, Рождество
и новые рожденья.

Ноябрь

Следы оранжевых дробин
в местах сорочьего ночлега,
и горечь тонкую рябин
впитала сахаристость снега.

Сырой туман украл черты
неповторимые деревьев,
и кажется, за полверсты
такая же точь-в-точь деревня,

там по снегу бреду и я,
сосу прогорклую рябинку,
и многократность бытия
лишь мне одной еще в новинку.

I Библейские мотивы

Роса испаряется на заре,
Искра на лету угасает,
Желтый лист достигает земли,
Ветер рассеивает дым из трубы,
Впитывает морскую пену песок,
Сновидение забывается при пробуждении,
Одним прыжком исчезает кузнечик,
Цветы под косою становятся сеном,
На мгновение затуманивается зеркало
Последним вздохом.

II И Евангельские поправки

Роса не испаряется на заре,
Искра на лету не угасает,
Желтый лист не достигает земли,
Ветер не рассеивает дым из трубы,

Не впитывает морскую пену песок,
Сновиденье не забывается при пробужденье,
Кузнечик, прыгая, не скрывается с глаз,
Ни один цветок не увядает,
И всякая жизнь, раз начавшись,
Уже никогда не иссякает.

Дарите сердце Богу

Дарите сердце Богу одному,
живущему горе за облаками.
Его возьмет Он нежными руками,
приблизит жарко к сердцу Своему.

Лишь Он один в него не бросит камень,
не то, что муж, сестра, отец и брат.
Он дару бесконечно будет рад
и, окружив родными берегами,

подарит детство в солнечном Крыму,
которое уже не перестанет;
залечит раны добрыми перстами, —
дарите сердце Богу одному.

И, исцелившись, мы полюбим снова
мужей и братьев, жен и матерей.
Отдайте сердце Богу поскорей:
ответный дар страдающему Слову.

Осенние уроки

Плутая в запутанном месиве
из капель, и ветра, и веток,
в ненастье мне вольно и весело
бродить ученицей по свету.

Когда я топчу мироздание,
то знаю, что мокрые травы
включаются в то же задание
условием, а не приправой.

Я знаю, что белые облака,
упавшие в озеро грудью —
из пещи спасенные отроки
и чье-то моление о чуде.

Я знаю, меж красными кронами,
из плена вернувшись, рабыня
и жезлом цветет Аароновым,
и встала у тына рябиной.

Так весело и упоительно
пытаться проникнуть в истоки
лишь с помощью сумоучителя
и путать все даты и сроки.

Одно обнимает горение
рябину, рабыню, Адама,
и я доберусь до творения,
раз этого хочет программа.

Программа размокнувшей озими,
заката в запекшейся крови
и в небо распахнутой осени
библейского Подмосковья.

ВИКТОР КОНСТАНТИНОВ

Яблоки граната

Когда стоит ненастье на дворе,
не сами ли мы в этом виноваты?
А на столе, на скатерти — гранаты
в сухой шершавой грубой кожуре.

Но разломи — увидишь в глубине
мозаику из ярких сочных зерен.
За внешностью, за радостью и горем
ты рассмотри живое и во мне.

Мы выпьем вместе райские плоды,
со мной отведай сладостного сока.
А в зернах сохраняются до срока
плоды другие, новые сады.

Все то, что есть, что будет, что живет,
зерну подобно, яблоку граната —
и век, и год, и книга, и соната,
и человек, и город, и народ.

И слово тоже легкому зерну
подобное
вдруг силу набирает,
как дерево незримо вырастает,
пускает корни вверх и корни — в глубину.

Суровый климат в нашей стороне,
холодный ветер в трубах завывает,
но дерево, растущее во мне,
поющих птиц на ветках укрывает.

Желанный трамвай

Желанный трамвай тормознул на минуту,
и хлынул на приступ продрогший народ.
— Скажите, трамвай по какому маршруту?
— А кто его знает, куда он идет.

Залезли. Как в прачечной, туско от пара,
и стекла покрыл леденящий налет.

— Скажите, он едет в счастливое завтра?

— А кто его знает, куда он идет.

— Скажите, он едет в грядущее утро? —
Ведь должен же быть у трамвая маршрут.
Пожали плечами и глянули хмуро —
мол, стоит тебе разговаривать тут.

Вздыхая, толкая, соседей ругая,
мы едем, не глядя друг другу в глаза.
Несемся куда-то во чреве трамвая,
но нет остановок, и выйти нельзя

Он искрами сыплет и на поворотах
скрежещет, как зверь, в непроглядной ночи.
За мерзлыми окнами чудится что-то...

— Скажи мне, попутчик...

— Сиди и молчи!

— В трамвае желанном ведите достойно,
водителю видно, он знает наш путь.

Водитель бросает:

— Сидите спокойно,

мы едем по рельсам — не можем свернуть.

И жуткая дрожь пробегает по жилам.
Вдруг все замолчали... Здесь что-то не то...

И я обращаюсь ко всем пассажирам:

— Куда же мы едем?

Не знает никто.

* * *

«...сторожил бы чужие огороды...»

М. Кузмин.

Александрийские песни

Сторожу чужие огороды
и живу в непрочном шалаше.
Слишком тесен уголок свободы,
но покой и мир в моей душе.

И пока волнуются народы
и невинную пускают кровь,
в огороде зеленеют всходы —
лук, капуста, репа и морковь.

Не хочу ни дома, ни барака.
Только ковш да трубка из вещей.
Из друзей осталась лишь собака,
общество нехищных овощей.

Наблюдаю все явления природы —
вёдро, и ненастье, и простор.
Только кажется, что мир мой — огороды
и опасен огородный вор.

Вся земля большие огороды,
если посмотреть издалека.
Вырастают города, народы.
Только вместо месяцев — века.

Вырастают и шумят народы,
урезают, требуют права,
но раскинулись спокойно огороды,
и шумит под дождиком ботва.

А ночами выпадают росы,
небо ясно, слышен каждый звук.
Вдоль ограды я иду, и звезды
совершают свой обычный круг.

* * *

От солнца теплы половицы,
мерцает из листьев узор.
Окно открываю во двор —
поют, заливаются птицы.

Все так же поют, по-старинке.
Я пробую песню свою —
все утро стучу на машинке,
по буковке хлеб свой клюю.

На стук по фанерке — тук-тук —
похоже.

Дворовые птицы,
услышав знакомый им звук,
к окну подлетают кормиться.

Живут на случайных хлебах,
ведь надо же чем-то кормиться,
и в комнату голубь косится —
но сам я на птичьих правах.

И нечем им здесь поживиться.
Не для голубей, воробьев
рассыпаны мной по странице
насушенные горсточки слов.

Страница — как неба клочок.
Все время живу в ожиданье
увидеть, как сквозь потолок
спускается голубь в сиянье.

* * *

Я знаю больше, чем могу сказать...

Из Улан-Батора я возвращался в часть.
Наш самолет летел вдоль Керулена.
Кончалась служба, и через неделю
я наконец-то уезжал домой.

Внизу лежала смятая пустыня
такого цвета, как моя рубашка.
Далекие хребты на горизонте
напоминали спящего дракона,
и темной струйкой вился Керулен.
Он то и дело свой меняет путь,
он весь замотан в высохшие русла.
И человек свои меняет русла.

По берегам, на расстояниях раскосых
еще стоят поодиночке юрты,
и черточки рассеяны поодаль,
но сверху невозможно различить —
стада ли это или табуны.

А самолет летел, и за крыло
(как будто неподвижное) ссыпались
пески пустыни Гоби. И тогда
пустыня мне слегка напоминала
аптечные песочные часы.
И тонкой струйкой вился Керулен.
Он то и дело свой меняет путь,
он весь замотан в высохшие русла.

«Два года службы, — думал я тогда, —
Становятся, как высохшее русло».
Я знаю больше, чем могу сказать...
Двацатый век, в окне пустыня Гоби...

* * *

Пронеслась давным-давно
над страной тревожной буря.
Повалился мощный ствол, и осыпалась кора.
На стволе сидим и курим
у осеннего костра.

Где-то в прошлом за плечами
шум и трест житейской бури,
надоевшая до дури повседневная мура.
Мы сидим вдвоем и курим
у осеннего костра.

Слава богу, мы не вышли
ни в подонки, ни в герои,
но в далекую дорогу, нет, еще нам не пора.
Можно жить, пока нас двое
у недолгого костра.

* *

В жестоком Риме нежные поэты,
распространенным нравам вопреки.
За что же им на головы надеты
из веток лавра легкие венки?

Хотя, как всем, поэтам непременно
терпеть гражданские невзгоды суждено,
но у поэтов темы неизменны —
природа, женщины, вино.

Как мало надо для бессмертной славы —
природа, женщины, вино...
А в Риме зрелища, триумфы и расправы,
и государству все подчинено.

Мощь государства, силы торжество.
Не дрогнут пред врагом кентурионы.
Прекрасных воинов у Рима легионы,
а вот поэтов несколько всего —

Тибулл, Катулл, Овидий и Гораций...
И, если с полки взять, легко разговорятся —
все о природе, женщине, вине...
Но главное таится в глубине.

Перевод из самого себя

Я живу только прошлым, где, как старая рухлядь
на чердаке,
дорогие мне вещи пылятся, богатства хранятся в чулке;
где давно почернел, паутиной зарос потолок;
где не яблоко — вызревший плод, не клубок,
а какой-то комок;
где на асфальт тополиных сережек чернила весна
пролила;
где дождь моросит, а на клумбе — душистый табак,
на ладонях — смола;
где парус экрана тугой
весь зрительный зал, как корабль, влечет за собой;
где всегда в ожиданье попутной машины спокойно
сидит на своем рюкзаке
синеглазая девочка с васильками в руке;
где в лучах одуванчик кудряшек на шее,
на щиколотке укус комара,
понимающий взгляд, влажный сумрак ночной,
незаметный уход от костра;

Забываются актрисы,
венский старенький сверчок,
встречи, книги...
Взвел курок —
здесь совсем другие мысли:
как бы баба Василиса
не воткнула вилы в бок...

Сколько русская земля,
неизвестных, незаметных
музыкантов и поэтов,
взявших в руки пистолеты,
ты под снегом погребла?

От снегов сияет даль.
Неман близко... память смелым...
Слава богу, хоть Стендаль
из России вышел целым.

* * *

«Уходя, гасите свет» —
на табличке в коридоре.
Я не стану с этим спорить,
Так и надо, спору нет.

Ну а если вы поэт,
то в душевном разговоре
я бы дал другой совет —
уходя,
оставьте
СВЕТ.

* * *

Богатства не жаждал, другое цена —
ни денег, ни истины нет у меня.

Надеждами жил, когда был молодым.
Искал я себя — повстречался с другим.

И если на возраст взглянуть без обмана —
для денег уж поздно, для истины рано.

Мне денег не жалко, без денег прожил.
А были бы деньги — с деньгами тужил.

О самой любимой давно не жалею.
Была бы моя — не ужился бы с нею.

Карьеры не жалко — начальником стал бы, —
И с этого места я сам бы сбежал бы.

И славы не жалко. Что делать со славой? —
а жить, как хочу, потерял бы я право.

И если писал бы стихов вороха,
то книга, конечно, была бы плоха.

* * *

Я лампу выключил и улицу увидел,
в вечернем сумраке идет бесшумно снег.
Отяжеленные прогнулись ветви,
и воздух неподвижен, но как будто
стал неподвижным падающий снег,
а вся земля с деревьями, с домами
как будто поднимается куда-то,
и кружится от взлета голова.
В вечернем сумраке идет бесшумно снег.

В вечернем сумраке идет бесшумно снег.
Я вижу торопящихся прохожих
с тяжелыми сугробами на шапках.
Чуть отодвинув легонькую штору,
смотрю на них поверх цветов в горшках.
В вечернем сумраке идет бесшумно снег.

На палку опираясь, инвалид
прихрамывает и неторопливо
проходит краткий ежедневный путь
от остановки до помойки и обратно.
В вечернем сумраке идет бесшумно снег.

И весь пейзаж с бесшумно падающим снегом,
с отяжеленными ветвями, с инвалидом,
сливается с той музыкой неясной,
которой не услышишь никогда...

Я чувствую лицом разгоряченным —
в вечернем сумраке идет бесшумно снег.

Натюрморт

Драпировка, торс Венеры,
банка с краской, белый лист.
Из иной, из высшей сферы
здесь предметы собрались.
Кто-то их рукой умелой
разложил и разместил —
кисти, краски, ватман белый
и бутылку от чернил.
Все в прекрасном беспорядке...
Но его не сберегли —
сняли тряпку, смяли складки,
торс Венеры унесли.
Банка с краскою упала,
лист измялся, пожелтел.
Все рассеялось, пропало,
но остались на холсте:
драпировка, торс Венеры,
банка с краской, белый лист.
Из иной, из высшей сферы
здесь предметы собрались.
Так и то, чем сердце бьется,
сохраняется вполне.
Все, что было, остается
на вселенском полотне.

* * *

Богатствами хвастать не стану,
и к подвигам я не готов.
Живая вода — лишь из крана,
сады — из горшечных цветов.

Оставив дела и раздумья,
я занят волшебным трудом —
довольны герань и петунья
воскресным домашним дождем.

Кормлю разноцветную стаю
мальков из далеких озер,
и в кухне люблю разговор
за чашкой индийского чая.

Я тысячу раз зарекался
и новую жизнь начинал,
и все-таки, как ни старался,
другим человеком не стал.

Забыта раскрытая книга,
введен корабельный уют,
и в вечности каждого мига
во мне продолжается труд.

В огромном театре галерка —
убогое это жилье.
Лишь черствая книжная корка
да время — богатство мое.

* * *

В эту дивную ночь
и в шуршание трав ухожу,
не горячей враждой, но дыханием детским согретый —
будет ласковый век, освященный заоблачным светом,
будем долго и тихо в высокие кроны смотреть.

Верь в любовь неземную —
прости — я могу умереть...

НИНА КОНСТАНТИНОВА

* * *

И снова мне в глазах твоих прочесть,
Что ты свидетель глаз моих незрячих
И падающих на спину горячих,
Коротких, как дыхание, ночей.

Да, ты свидетель голода, когда
Кровь туго скручена, как провода,
И плоть становится насущным хлебом.

Когда удушье вызовет любой,
Нечаянно дотронувшись до локтя,
Когда июль упал мне в изголовье
Подушкой, от синьки голубой,
Когда смолою плавилась жара,
Свеченьем глаз меж сдвинутыми лбами,
Когда сухими, жесткими губами
Выучивают линию бедра.

* * *

А так мы всю осень прожили —
Под крышей — по дням выходным,
Средь хлама чужого и пыли,
И разное ввали родным.
А лета остатки так сладки —
Последний кривой огурец
Слегка подморожен на грядке —
Подножному корму конец.
Опять на еде экономя,
Дешевое купим вино,
Так быстро смеркается в доме,
Так крохотно это окно.
И молодо, ново и страшно...
Скорей же, скорее узнай,
Как две переполненных чаши
Ликують и льют через край.

Но ты — сама свобода и тайна бытия,
И оттого не больно произнести «твоя».

Спешу, и нетерпенье в дороге я глушу...
И уличная гуща,
И лифт едва ползущий к восьмому этажу.

А мы на кухне белой опять с тобой вдвоем,
Заварим прямо в чашках и чай крепчайший пьем.

Какой-то вздор несу я, и вторишь ты, смеясь,
Опять — крыла раскинуть,
Одежду вдруг отринуть, желая и боясь.

Я так не говорила ни с кем и никогда,
Такая в этом слабость и сладость в этом «да».

И так мой день наполнен, что поклонюсь судьбе,
И вдруг пойму, о боже,
Мне жизнь твоя дороже,
Чем я сама себе.

Подмосковные строфы

I

Очаг для ребенка затеплим,
Хоть вряд ли избегнуть простуд —
Так сыро, что таволги стебли
У сгнившей ступеньки растут.

И мелкая травка-мокричник —
Уже добралась до крыльца,
И всюду проросшая хищно
Зеленого плюша гнильца.

И запах жиреющей сныти,
Крапивы настойчивый труд,
Наш угол парами насытив,
До обморока доведут.

Но пала крапива, как войско,
И добела выкошен сад,
И запахов множатся свойства,
И свежесть сильна, точно яд.

II

И снова грозой нас задело,
И хлесткого ливня налет
По горло водой заржавелой
И ведра и бочки нальет.

И вдоволь наплескано в окна,
Нескладица наша сестра —
Белье на веревке намокло,
А детского снова гора.

И лен простыней отсыревших
Холодным компрессом ожжет,
И думать, и думать, согревшись —
Вот что наконец меня ждет.

III

Ты влажного шепота пленник
И сумрачных вздохов листвы,
И запаха жизни и тленья
Гниющей на грядках ботвы.

Сырой комариный питомник,
Но, боже мой, этой земли
Дыхание слышать и помнить
Мы так ненадолго пришли.

Хоть малою каплей остаться,
И падая лунку пробить,
И в поры земные впитаться,
И в чьем-то сознании жить.

Качнувшись к террасе от ветра,
И выдав волнение свое,
Хоть легкой вишневою веткой
Глядеть на людское житье.

Эти древние буквы скажи мне о ком?
Даже имени звук не знаком...

Ни куста, ни чахлого деревца нет
У твоей колыбели...
И опять между нами две тысячи лет —
Этот мерзлый, угрюмый рассвет.

Прогулка с трехлетним сыном

Густые травы, словно лес,
И целые стада чудес,
Ступая, беспокоим.
Рука — подобье поводка,
Как ревность наша велика,
Прижмись скорей щекою.

А жизнь серьезна и близка —
Глаза тарашить на жука
И обмирать: «Какое?»

А свет счастливей не бывал,
Июньский, теплый, белый,
А сын впервые называл,
И каждым шагом открывал,
Насколько взрослая душа
Ослабла, омертвела.
И я глядела чуть дыша,
И перед ним робела.

А эта будет навсегда
Любимой из прогулок.
Ты слышишь, где-то здесь вода,
Все живо, что уснуло!
Как долог этот спуск в овраг,
Как манит сочный полумрак
И сыростью пахнуло.
Кто, кто там притаиться мог,
Родник? Еще не ясно,
О как земля прекрасна —
Подарок твой, сынок.

ИЗАБЕЛЛА БОЧКАРЕВА

* * *

Дома
буду я ждать у моря погоды
с последними крестьянками
в нашей деревне,
со старой дамой,
с опальным ученым,
с художниками и поэтами
без выставок и без книг,
с неуехавшими евреями,
с маминой могилой,
с очередями и пустыми прилавками,
с народом, безмолвствующим по-русски.

Весеннее

Она — как мартовская ночь.
Настороженное брожение
ей сдерживать уже невмочь.
Еще она — стихотворенье,
что не успело отделиться
во тьме от боли головной,
но все само определится.
Здесь ты не властен над собой.
Она — как разговор зеркал,
друг в друге мрачно отраженных.
Отчаявшихся мрак впускал
и выпускал заговоренных.
И, говорят, когда весна,
и чей-то голос незнакомый
тебя по имени зовет —
опять она, опять она,
не оборачивайся, к дому
держи поближе — пронесет.
Все это мара, нежить, даль
тебе бросается под ноги,
и вьется серая спираль

перед тобою на дороге.
Воронку ножиком пырнешь —
зальется дымной кровью нож.

* * *

Над водами деревья и деревни.
Над водами туманы и закаты.
Над водами цветение и сон.

Заря насыплет розовые перья.
Насыплет солнце золотую стружку.
Насыплет дождик сине-серый крап.

Охота кончена. Не началось купанье.
Проволокуются кружевные сборки
за маленькой моторкой. И опять —
остекленелость:

* * *

Комар гудит, и поезд, и пароход.
Колеса стучат среди розовых круглых вод.

Комар отстал, и пароход замолчал.
В леса уходя, поезд еще покричал.

Небось, устанет, найдет прошлогодний стог
или в лесу, где посуше, сообразит костерок.

Что ж все бежать мимо мертвых платформ, городов,
запертых зорь, занавешенных утр, погашенных слов,
шамкающих болот, комаров да сов?

* * *

Отсеялась. Можно сидеть без движенья, без мысли.
Смотреть, как зеленая дымка станет зеленой мглой.
Вечер добавит синего, синего, синего.
Уйдут с огородов люди, склонявшиеся над землей
всю золотистую благоуханную среду

под дождиком с желтой пылью, под лепестковым
снегом.

Зеленое исчезает.

Темно лиловеют земля и заборы.

Скоро

и я уйду домой

и дома сижу, прислонясь к стене

без движенья, без мысли.

Синева с празеленью маячит в окне.

Пахнет черемуха в горнице, пахнут нарциссы.

Прыгает солнце в печи.

Умру — буду жалеть: слишком мало

я созерцала.

* * *

Юные ивы на хрупких стволах

Тонкая дымка на дальних холмах.

Туда, синеву набирая,

уходит дорога сырая.

Этот мечтательный, зыбкий, фарфоровый вид

за нашей избой, как за спиной Джиоконды,

с конца апреля, почти не меняясь, висит.

* * *

Кончается жизнь. Изба кривая да тесная.

А в окнах — веселье, голубизна небесная.

Сегодня сажали картошку. Теперь вот у Насти
сидят за столом.

Картошка — тревога и счастье.

Хлебу замена.

Сама-то — в свежем платке.

Рыбконсервы, водка, картофелины в чугушке.

Дачники помогали. Лошадь была из совхоза.

Навозцу бы надо, да нет ни коров, ни навоза.

Пахано поле — верно, в последний раз.

Настя стара, одна. Деревня мертва.

Да что там ! Всякая жизнь — невеселый сказ.
Простор да веселье? А вон: небесная синева.

* * *

Началась охота.
Господи, сделай так,
чтобы скорее прошли выходные дни.
Ночь удлини,
не включай день.
Чтобы затихла стрельба на реке и в бору.
Пошли ты этих убийц
на сенокос, на картошку, на базу,
пошли им автобус в Москву,
а Москву завали колбасой и мясом,
а если нельзя,
дай мне такую широкую юбку,
чтобы под ней схоронились утята и утки,
белки и зайцы — все звери и птицы,
кому выпала доля родиться
пушным и съедобным.

* * *

Я — город.
Я должен бороться
с-ночной темнотой,
зимним снегом,
весенней водой,
осенней листвой.
С кошками и собаками.
С незастроенными просторами.
С тем, кто идет куда глаза поглядят.
С землей, где живут семена, насекомые, корни.
Я срываю холмы,
загоняю под землю ручьи
и людей, для их же удобства.
И люди довольны.
Вольная жизнь тяжела.
Земля есть грязь.

И птицы довольны:
их в городах не стреляют,
а хлеб
валяется под ногами прохожих.

* * *

Здесь были горки.
Выросли дома.
Здесь — огороды.
Выросли дома.
Здесь — ручеек, и берег, и лозняк,
и деревенька. Множество собак,
и кур, и коз, и кошек и коров.
У каждого — пространство, корм и кров.
Была запруда, мостик и сады,
фасады-палисады и зады.
Кто здесь прошелся — бес? Война? Чума?
Окрест — асфальт, машины и дома.
У нас была и речка,
был и пруд,
парк, переживший все,
и дом старинный.
На месте их теперь дома растут,
поверх пруда — загон автомашинный,
поверх речушки — супермагистраль,
чтобы удобней было мчаться в даль,
а там вздохнуть среди лесов, лугов
и красоты старинных городов.

Still life

(Н а т ю р м о р т)

Момент остановился в тот момент,
когда по синей скатерти спиралью
крутилась апельсина кожура,
а толстые ручные кружева
немного подались назад от вихря,
а человек, расшевелив предметы,
уже исчез за черным косяком,
неся в руке прозрачный желтый плод.

Ялта

Останусь-дома, побуду, закрыв глаза.
Я среди пальм, олеандров и лавров — знаю.
Глициния млеет под солнцем — нагая лоза.
Призрачной прелестью гроздья распустятся к маю.
Жимолость пахнет, как в английских романах.
Газоны покрыты плющом, а не травой.
И расписалась весна на горных полянах
золотом крокусов и подснежниковой синевой.
Знаю, что солнце раскокало город сейчас
в груди блестящих осколков и трещин лиловых.
Побуду, не раскрывая к весне не готовых
серых северных глаз.

Алупка

Я к розам хочу,
в тот единственный сад.

А. Ахматова

...И выход открылся в таинственный сад,
где синие камни на склонах стоят,
где воды, срываясь с заснеженных гор,
с камнями о море ведут разговор
и где у подножия синих камней
фиалки темнее вечерних теней,
и где в оперенье павлинов горит
сапфир, бирюза, малахит, лазурит.
Тот сад расположен меж круч и пучиной,
меж твердью земной и небесною, синей,
и черная, жгучая, злая звезда
заманит в тот сад на пути в никуда.
Домой попадая, как будто впросак,
бормочешь: и вправду все, стало быть, так...
Но что же мне делать с собою теперь?
И ходишь, и ищешь волшебную дверь.

Воспоминание

Яйла словно чаша, а Ялта — на дне.
Точнее, полчаши, а в той стороне,
где стенки распались на сколы и скалы,
по днищу осевшему море взбежало.

Равнинному жителю море не диво.
Конечно, стихия, вольна и красива,
поболее Волги, но та же вода,
равнина без края и жизнь без следа.

А горы низки, если низко ты сам.
Но если поднимешься выше к горам,
увидишь их истинную высоту,
провалов глубины и вод чистоту.

Не дальше и ближе, а выше и ниже...
Не море я мысленно слышу и вижу —
дорогу, закрученную спирально.
Нарядны цветущие, хвои печальны,
а камни асфальтовы, желто-медовы.
Пороги у лба, а под пятками — кровы.

Окно парохода у мола блеснет,
и ветер ударит, и птица мелькнет,
Вершины — туманам, долины — дымам.
Долины — жилище, но горы есть храм.

* * *

Всегда любила костры октября,
резкий треск под дождем и в тумане,
в бесцветном сумраке — яркое пламя.
Цветет костер посреди двора,
асфальт разрушен, вырыта яма,
чернорабочие у костра,
развал. Ругаются горожане.
И, раздражаясь со всеми, я
вдруг замираю: те же цыгане!
Лоскут простора между домами,
мир вневременный в мире с часами,
в мире быта — мир бытия.

Зимнее утро

Вселенная серым безвидным комком
сначала залепит оконный проем,
потом от окна отпадет полутьма,

потом от небес отделятся дома,
потом разделяются небо и крыши,
и видно, что небо и легче, и выше,
горит самоцветно, и тонко, и чисто.
Заря разливает цвета аметиста,
сквозь черные ветки играют топазы.
Я завтрак готовлю и краешком глаза
слежу за мерцаньем жемчужных тонов.
И солнце явилось, и завтрак готов,
и ТЭЦ разливает по ясному своду
дымы как расплату за нашу свободу
от действия у печки.

* * *

Метель и предвкушение весны.
Метель и удивительные сны.
Метель, метель по улицам метет,
а в сердце синий гиацинт цветет.

Метель и новогодние огни.
Неси меня, метель, не урони.
Не улицы вокруг, не ночь, не день,
а демоны, царевны и сирень.

Вокруг глаза цветов и руки трав,
и примаверы тюлевый рукав,
закатные кристаллы в ртути вод
и рыхлый месяц в мареве болот.

Стихий еще бесплотные рои
(неси меня, метель, не урони),
пожар созвездий — сочетанья слов
и звоны ритм — серебряных подков.
Нельзя богатству этому пропасть.
Не засти мне глаза — я буду красть.

* * *

Жирные горожане, квелые горожанки
с насморками, аллергиями
вдруг выходят к реке.
Свежесть и тишина.

Розовая заря.
Серебристые рыбы.
Мы бы тоже могли бы...
Если бы да кабы.
Глядь — через две недели
произросли грибы
на сиденье машины,
травы ее одежи,
мыши погрызли шины.
Просто зеленый ад.
Ну его, в самом деле!
И что они все молчат,
эти березы, ели?

Дачники

Нищие шли деревней
с тяжкими рюкзаками.
набитыми колбасою,
транзисторами и мясом.

Все есть теперь у нищих —
зарплата и бюллетени;
выходные и наградные,
пенсии и жилплощадь.

Но были черны их лица
и безрадостна — поступь
мимо палат зеленых,
мимо водных чертогов.

А через день — обратно,
С легкими рюкзаками.
Транзисторы — конвоиры
за спиной не смолкали.

• • •

Но самое пленительное — тени
на занавесках, скатерти, на лицах,
на досках пола, на дорожках сада,
на старом срубе —
лежат резьбой, намеком, кружевами,

подрагивают, застывают,
смещаются неспешно,
сиреневые, голубые,
и вспыхивают розовым и желтым.

* * *

Вдоль пашни ходит добрый мощный зверь. -
Две женщины при нем — две старых жрицы.
Мне хочется и плакать, и молиться.
Я стану сбоку, где шуршит костерь,
метелочками сухонькими вертит.
Как много видно осенью с горы!
Легки старухи, веселы, бодры.
Кто пашет, тот не думает о смерти.
Храни, Господь, и воды, и холмы,
и тьму ночей, и свежесть, и молчанье,
спокойной жизни вольное дыханье.
Они, по счастью, людям не нужны
и потому покамест уцелели.
Уже никто не может этим жить.
Но, двигаясь к какой-то смутной цели,
сподобились мы это полюбить.

* * *

Не свет на розы падает, но свет
идет от роз на стол, на хлеб, на лица,
и даже стены свету не граница:
не может он нигде остановиться
или вернуться в розовый букет.

И улица, заросшая бурьяном,
и вся деревня от него светла,
светлы осенних туч колокола
и жизнь, которая в туман ушла,
и жизнь, что к нам выходит из тумана.

Как странно! В доме только ты и я,
но все цветущим маревом одето,
и разом осень и весна и лето,
и столько обликов живого света,
как будто нас — немалая семья.

СЕРГЕЙ БАРСУКОВ

Р О З А

Едва проснувшись от росы,
К лучам поутренним стремишься,
и зеленеющая мышца,
наполняясь соком бирюзы,

преодолевши сонный страх,
сильней становится и жарче,
и бьются жилки на листьях,
и кровь зеленая все ярче.

А ввысь, еще благоухан,
пока стыдлив, уже не робок,
рассветный тянется туман,
кругом соседствуя, бок о бок,

в последний раз тебя спеша
окутать ревностью прохладной,
в которой знойно и бесплатно
трепещет белая душа.

И, слезы быстрые сдержав
на лепестках едва открытых,
царевна ветреных держав,
вся потемневшая в молитвах

любовных, что от ветерков
друг другу речь перебивая,
чуть шелестят меж лепестков,
спросонок слов не разбирая —

вся — розовеющий недуг,
как Дафна перед Аполлоном,
когда захватывает дух
перед коленопреклоненным

богорожденным естеством,
а разделить возню не в силах —

так ты, загорядясь листом
от глаз его нетерпеливых,

слепишь их юной наготой,
без смысла рвущейся наружу
сквозь лепестков былую стужу
прочь из купели золотой.

Но цель становится ясней
спустя какие-то мгновенья;
в зеленых залежах теней
иного ждешь богоявленья —

что Феб тебе, что Фазтон:
смазливость эта ерундова,
и не открывшийся бутон,
как жестко сказанное слово;

но под зевесовым дождем,
под золотым серьезным даром
горишь, забывши обо всем,
холодным ревностным пожаром,

И лишь на миг, но как видна
в одном беспамятном движеньи
Судьба, что определена
неверностью в грехопаденьи —

раскрыт, безумствуя, цветок,
раздавшись всеми лепестками,
и вот уж ветер, как руками,
щекочет каждый завиток.

Д О М

1

В равнооконной, равноугольной,
в комнате равностенной, квадратной
звезды чертили на тверди зеркальной
многоразвернутый серп многократный,

многоразвернутый, многоразверстый,
многооставленный, многореченный
над хрустальными сверкающей бездной,
над поцелуйностью их золоченой,

где одинокое твердое семя
медленно зрело, стебель носило,
в пору неспешно-сырого цветенья
медленно вверх одинокая сила

семя вздымала, в плод прорастая.
Землю бездомностью гулкою меря,
брел, спотыкаясь у самого края
берега, в море всеильное веря,

разум погасшего к утру вулкана —
меч поднебесный в исчадной долине,
и в огне немощного великана
взглядывал, горько вздыхая о сыне,

этот ступенчатый, многоэтажный
дом в отражениях стрельчатой башни,
не окрещенный грядущей покражей,
необновленный, бездетный, вчерашний.

2

Или от сна слюдяного восстали
эти незримые легкие копыя,
что, обеспамятев, в горнем кристалле
вспыхнули серые мыльные хлопья,

там, где слюдой засверкали подковы,
там, где звенели они, где сгорали
лики резиновые безголово
на виражах позлащенной спирали?

3

Шел одинокий, больной, необретший
путник, взыскующий медного града,
неоживающий и неокрепший
ввысь этажами бетонного ада.

Сквозь неослепшие несколько комнат
виделось море — эмаль в позолоте, —
может (мечталось ему), и накормят
там, где ступень оборвется на взлете...

4

Мерно дымился обугленный кратер,
словно матрешка пустая без верха, —
чей ты, вневедомственный каратель,
чья перекличка тут, чья тут поверка,
чьи чуть осклизлые сизые стебли
водорослей и текучих и жестких?..
...губы и волосы в сере и пепле,
и у зверушек прогары на шерстке.

5

Что-то сгорело... Когда это было?..
Дом-то все тот же и комната та же...
Может быть, просто кого-то любила
эта летящая поверху сажа?..

6

Где ты, утративший имя и время, —
как же устал ты, еще не родившись!.. —
кто ты, посеявший твердое семя
меж золотеющих злаковых ижиц?

Кто пеленала тебя, кто дышала
над головою твоей неостудной,
чье это лоно, железней металла,
день зачидало безропотно-судный?

Тяжесть его раздавила предплечья
тем, кто стоял по дороге от дома,
братоубийственна — нечеловечья —
сирость воздвиглась ослабившим лоно.

7

Необретаемо торное имя...
Чем утишить голубиное горе?..

Кто ты, руками сухими своими
всех сыновей своих сбросивший в море?..

Уголь и пепел под лавой застыли,
и в жестяные консервные банки
свет убывающий заполучили
там, где в агонии бились подранки...

8

Неузнаваемы стали долины,
реки окрасили травы, как пряжу,
а по дороге тянулся ослиный
рев, обнаруживши чью-то пропажу.

Словно усилились звонкие краски,
твердью своею вокруг утвердились,
прочь полетели ошметья замазки
с окон, что сами собой отворились.

И на подходе к забытому дому
тучи тяжелые стали багрово,
маки взошли и сияли знакомо,
слушая праздник ослиного рева...

9

Вот и опять на чужом побережье
дом опустелый стоит, как родимый,
море все то же и скалы все те же,
тот же вулкан затухающе-дымный.

Где же строитель, что строил навывост,
кто был хозяин, и кто тут наследник?.. —
только одна непреклонная сырость,
только остатки запасов последних,

словно нетленная чья-то забота
все же тебя понемногу хранила,
словно ты ждал потихоньку кого-то,
словно скучал по кому-то ревниво.

10

Солнце рассветное просится в руки,
утро морское с фисташковой солью,

те же следы безымянной разрухи,
та же тропинка по самому взморью...
Может быть, это закон беззаконный,
пепла и ветра удачливый финиш,
и потому на дороге знакомой
так никого до сих пор и не видишь?..

Исколотое блюдо

(обрывки литовского дзена)

Эти струи фонтана трубой
перехвачены у горловины,
бьются струи,
охвачены болью,
плещет пена
и небо немо.

Водопада каскадная грива
налетает на камни,
чья-то память грохочет,
разлетаясь на капли,
разбиваясь,
разламываясь на куски...

И в ушах одиночество мига,
незаметно замедлилось действие
уходящего,
неушедшего,
стороною идущего мига.

Задержишься, проходящий мимо,
на мгновенье,
на четверть мгновенья,
задержи одинокую стрелку,
одинокую бегущую стрелку
обозначь в циферблате фонтана,
удержи ее взглядом на черной,
на зеленой или красной точке,
на граните, слюде или смальте —
удержи ее там,
где хочешь.

Окупись в одиночество мига,
окупись, проходящий мимо,

в одиночество сна и снега,
в безымянную память света,
в память света
и в память молчания,
в этот блеск голубой печали,
раздробись на сапфира грани
в этот час аметиста ранний
в синеогненный нежный вечер...

О, закутай лицо и плечи
покрывалом кроваво-белым
и в полете бесшумно смелом
зародись мерцающей каплей —
ей до смерти целая вечность,
целый век траекторией брызнул,
целый путь пролетит слезинка,
прежде чем, достигнув предела
в одинокой любви к фонтану,
умирая, в нем растворится,
и, упавши, сольется с синим
одиночеством синего мига,
серебро обретая смерти
и рожденья серебряный обруч.

Задержись, проходящий мимо,
окупись в одиночество мига,
обозначь эту новую каплю,
что от старой взяла половину...

Это струны лучистые неба,
лучезарно нагие струны,
струйных ив запевают струи
пеннозвонным фонтаном струнным,
тишины обретя октаву,
обретая утраченный контур
в синеве очерченной звонкой
крыльев росчерком нежно-упругим,
что, сверкнув золотистым гимном,
опереньем внимают ветру —
разноцветные перья света,
растворенного в дымке пыльной.

Словно свет, впереди идущий,
словно пламени абрис синий,

мимолетность певучих линий,
мимолетность души живущей —
 ускользающей, ускользнувшей —
 точно луч, по воде бегущий...

Птица молится, крылья расправив,
птица молится крыльями ветру,
птица молится звонкому богу,
 что живет в одиноком горле,
 что на перьях качаясь звуком,
 пролетает в полете гулком...

И, в молитве слагая крылья,
вниз бросается без оглядки,
 разбиваясь о черепицу
 засыпающего заката.
Птица молится богу-горлу...

Вибрируя звуком,
лучом пробегая
по солнечным мукам
 то ада,
 то рая,

по ныне живущим,
по ныне ушедшим,
по сумеркам вешним,
 по сумракам вещим,

сквозь отзвуки пира
поныне, поныне
 горит манипура
 сочащейся дыней,
горит манипура
и манит, и манит
 сквозь тяжесть пурпура
поющая память,
поющая память,
певучая сила —
 чертеж золотой
в геометрии синей —

горючее облако
солнце просило
вернуть серебристого сына...

...косые
лучи набегают,
окружность отмерив,
зеленые звери
всеселые зреют,

зерно прорастает
сквозь купол неслышно —
обратным крестом
осеняемый Вишну, —

и робко с порога
глядит недотрога —
недолгого бога
убежище строго,

печальным оврагом
взмолилась долина:
— верни изумрудного сына!..

Солнце на ладонях,
как краюху душистого хлеба,
только что испеченного небом,
негой огненной пропитанного,
я несу к ногам твоим, Боже,
Муж мой,
Сын мой,
на Кресте распятый...

Слышишь, птица поет так близко
одиноким лазурным горлом,
тишиной наполняя звуки
(каждый звук,
как из света шарик,
с чуть прозрачной
ночной начинкой...),
слышишь, птица поет так близко,
возвращая дар возвращенный...

Сходит Мать по ступеням крестным,
с перекладины сходит тесной,
зависая над серой бездной,
над зелено-лазурным сном:
горький нимб от чела исходит,

сходит Мать по ступенькам серым,
побелевшим от дрожи сирой,
по ступеням осиротевшим
Мать выходит из тела Сына,
из остывшего тела сна,
ступни раня о шорох дрожи,
о занозы шелеста раня,
серый ангел огненный робко
протянул ей худую руку...

Сходит Мать шелестящим ветром
по ступеням рассвета вниз...

Сестры

Ах, как я помню твое загорелое
горько-соленое тело
с метиной белой на пузе
от острого камня,
этот загар на спине,
что неровно ложился мазками,
а в точках —
в свежих и нежных
коричневых крапинах,
пуантилистически сделанный;
волосы, выгоревшие у шеи,
вьющиеся выцветающим золотом,
переходящим в соломенность
желтой соломенной шляпки.

Эту разлитую горечь
в руках и ногах
я помню,
не то чтобы стройных,
а попросту собранных правильно.
правильно пригнанных
к длинному
детскому
торсу,
линию быстро округлую
и вовсе пока не мужскую,
с маленькой бусиной

так потемневшей
на солнце,
если смотреть на нее
откуда-то сбоку,
из-под изгиба подмышки,
раздвинутой плавно и сухо,
а выше
плечо твое тупо и жестко
суставом легко выступает,
когда медленно
тянешься за сигаретой на столике
и рука,
исчезая из глаз,
куда-то вперед уходит,
только маячит
веснушчатый локоть,
вторя закону табачных затяжек,
и темнеет,
темнеет ритмично на фоне
какого-то милого,
и беззащитного бока,
имя как будто свое потерявшего
в неуверенном братском доверьи.

Солнце безмолвно садится,
и стены
вбирают последний загар,
точно это
распластанное,
горестно-светлое,
темное до черноты в простынях
удивленно-безликое тело.

Так и его хоронили —
я знаю —
на прошлой седмице,
на восходе лазурно-фисташковом,
горько-соленом
как море.

Были ворота
распахнуты настежь,
и стены
серые, чуть золотясь,

розовея,
с еще не проснувшейся тенью,
сыро лежащей у ног,
с бледной и розовой
голубизною начальной
сливались,
и солнце,
как бы стыдясь, ненароком,
случайно всходило,
точно в тени оставаясь —
пытаясь остаться.

Падало нежное и восковое
лицо твое навзничь
навек,
словно случайность какая
среди мимолетных,
разорванных временем
наполовину,
на четвертинки,
на части и мелкие клочья,
плетущихся вслед за тобой,
человеческих судеб.

Лишь Ты целиком был один,
возникая над гробом,
и плакал,
и слез не стыдился,
и не утирал их украдкой небрежно

И помню еще
загорелые длинные ноги
с лодыжками узкими,
с ровно провисшим,
застенчивым как бы коленом.

Этой светящейся
изжелта сумрачной кожей
глаза переполнив,
так что терялось
движение линий,
упруго бегущих недавно,
только лицо твое,
помню, от подбородка до скул,

до посиневших кругами подглазниц
совсем потемнело и сохлось,
словно лишенная воздуха
шарика детского
кожица тонкая,
синие ногти я помню
и губы,
как сжатый синяк,
прищемленный навеки прищепкой.

Светлея, вперед уходил,
убегал
зачумленный Неаполь,
и трупы смердели,
и серые совки кружились.

Под своды твои
приносили распухших и сизых,
не помнящих родины,
мать навсегда позабывших,
где лимфа цвела
виноградом увесисто-черным,
и люди какие-то
в странных безумных хламидах
пытались последние муки
страдальцам,
заброшенным дальше,
чем путник, забредший в пустыню,
воды не нашедший,
ни пищи,
ни смерти спокойной,
облегчить сияньем твоей
бесконечно-прерывистой жизни,
и краткой в начале,
и длинной в конце и невольной.

Большим колесом
наезжала телега
на камень,
и треснула ось,
и телега присела испуганно сразу,
и крутились колеса,
крутились колеса,
не слыша, —

Однако закатилось куда-то,
под гору куда-то,
к притихшему синему морю,
и не было больше
колес никаких —
впопыхах запастись позабыли,
когда выносили тебя
из отчего нашего дома родного
навстречу.

А Ты перед домом стоял,
родни не стыдясь своей жалкой,
и плакал,
и, слезы при всех рукавом утирая,
был весь неутешен,
был в горе глубоком
и страстном,
и руки дрожали,
и жадное солнце горело,
и ветер утих,
и палило нещадно и гулко,
как будто лучи отрывались
от солнца родного
и с грохотом падали,
отягощенные,
наземь.

Лицо потемнело,
потом осветилось пожаром,
сначала как заревом,
вспыхнувшем где-то
в сторонке,
а после
само запылало,
лучась и неистовствуя разом,
черты твои плавя
в благой и небесной геенне,
и точно прищепка свалилась,
и осиротелые губы,
родню обретая,
всем мясом лиловым своим задрожав,
разомкнулись
и вспыхнули тоже,
сияя набрякшим мученьем.

А мы все застыли —
ты был такой маленький, хилый,
никак ты не мог
в этом гробике тесном своем
повернуться,
и даже руки протянуть
мы тебе не могли,
ненаглядный,
и тут ты заплакал,
беспомощно сжавши колени,
худыми руками
себе помогая
из гроба подняться,
садился и навзничь валился
ты снова и снова,
и так трепыхался —
как брошенный всеми
больной шелудивый котенок,
и плакал,
и слезы мешались
с еще погребальным,
на щеки намазанным
и протухающим жиром.

Ах, как ты карабкался долго
из гроба,
я помню, как долго,
мой милый,
как руки тряслись,
и сводило суставы,
как в узел,
и судороги
разрывали
тяжелое хрупкое тельце,
глаза закрывались
под тяжестью век непригодных.
и жилки на веках
лазурной рекой проступали,
пульсируя, точно с одышкой,
и страшен ты был,
и так же мучительно дорог,
и, словно в коросте какой,
в загнивающих заживо струпьях,
и долго возился,

не зная, что делать
с покинутым намертво телом,
зубами кусая
вонючий
мясисто-удушливый воздух,
и плача,
и губы корежа
зубами до крови,
из плохо оструганных
толстых краев
занозы вгоняя под ногти.

И только бы снова
опять ты, родимый,
не умер,
отчаянным страхом
нездешним
разодранный насмерть
во гробе,
покинутый всеми
и всех поминутно прощая
и вновь покидая,
опять и опять возвращался
и рвался из тела,
как маленький зоркий
зверек с перебитой,
капканым гнездом продырявленной
лапкой в ловушке.

А вечером
было веселье,
какого не помню,
и точно плясали окрест
безобразные наши деревья,
и сладостно было,
и солоно,
горько и скучно,
и вроде спокойно,
бесстрастно
бесчувственно что ли,
как будто сквозь дымку
плясали и пели
какие-то люди,

и ты среди них,
да и я где-то сбоку
с дарами.
И только твоя сигарета
тебя охраняла
и тлела,
пуская кругом
благовонные дымные кольца.

Вот так и лежишь
ты теперь
в опустелой постели,
ах, милый мой,
бедный,
зачем же тогда
расставаться.
И солнечный,
красный какой-то
игрушечный шарик
висит и висит
одиоко
над горько посоленным
морем.

А как ты поднялся тогда,
наконец,
на карачки,
такого мне лучше,
родимый мой,
больше не видеть.
Хоть помню я
этот звериный, безудержный
вой бесконечный,
и светлое небо над ним,
и слепящее солнце в зените,
лицо твое помню,
уже безвозвратно живое,
и губы,
что кровью набухли,
как сотня пиявок,
и Ты с запрокинутым ликом,
с глазами,
как шляпки гвоздей

раскаленных
и вогнанных в самое небо,
поодаль стоящий,
трясущийся нежно и жалко...

Тесей у тела Ариадны

I

Эта вязь разноцветных теней по фарфору,
раздробившись, плелась в прихотливый узор,
только в комнате тесной им было не впору
под эгидой цветной разузоренных штор,

где на красном сгущая лиловые розы,
преломляя на складках мерцающий свет,
троесвечья огни сквозь вещественность прозы
прорастали в пылающий вещей букет.

Три свечи осязали свою бесконечность,
языки добела от любви раскалив,
отдавая во тьму всю свою бессердечность,
как с орарей парча — золотой перелив,

и клубились, и тлели, и время живое
отлетало червонною копотью ввысь,
три слепых сталактита, лампадных изгоя,
три горящих перста в алтаре вознеслись.

Две гвоздики стояли в молочной бутылке
лепестки обрядив для чужих похорон,
в полумраке зияли могильные дырки
посредине венчальных кровавых корон,

и стекло чуть светилось, как будто бы лето,
прогревая с утра затянувшийся пруд,
попыталось пронзительным всплеском рассвета
кинуть в самое дно огневеющий трут,

и сквозь толщу зеленой воды полусонной,
сквозь бутылочный блеск ее и желтизну,
проступило со дня всю жизнь спокойной,
прорываясь лучом через всю глубину.

II

Две гвоздики в бутылке да желтые свечи
в изголовье стояли с иконкой чужой
в ожиданьи подобья безвременной встречи
с удивленной, отвергнутой телом душой,

чей сосуд пожелтелый, сложивши ладони,
погребенный, как в волнах, в седой простыне,
распластался в гробу, как в купели, как в лоне,
от светила дневного укрытый на дне.

И лицо от свечей то светлело, то меркло,
точно клавиш рояля, от музыки желт,
западало оно под нестройной проверкой,
и нестройно звучал запоздалый аккорд;

то ли гасло оно, то ли вновь разгоралось,
умирало ль по-новому, или жило,
этим сумраком, словно огнем наполняясь,
этим временем, что не пришло и прошло,

задержалось, застыло, с судьбою не споря,
уплотнив этот мрамор застенчивых век,
и безвременья этого горькое море
точно на берег вынесло черный ковчег,

что, вздымаясь на трех табуретных калеках,
захватил этот дом, эту жизнь, этот свет,
этот смех, эти жилки на призрачных веках,
этих кос золотистых упругую сеть,

всех детей и зверей твоих, все изобилье
плодоносного сада, большого двора —
все зачахло под мелко размолотой пылью,
и одни петухи лишь кричат до утра —

только гребни видны их среди запустенья —
в золотистых подпалинах три кумача,
и, хрипя над тобой от безумного пенья,
в изголовьях последняя гаснет свеча.

Но какой-то неверный, сырой, незнакомый
раздробился и брызнул неведомый луч —

точно лунный призыв из-под двери балконной
пробежал, прорывая замедленность туч,

добежал до лица, прожигая глазницы —
разверзая их снова иль просто любя —
и застыл, каменея подобьем денницы,
осветивши останки твои для тебя.

III

Словно желтый бархан, все окно занавесив,
надвигался, сползая горячим песком,
по крупинкам стекаясь от градов и весей,
обретенных и собранных тут сквозняком, —

этот град из песка, этот дом позабытый,
возведенный теперь за тюремной стеной,
точно старый мотив неизжито-избитый,
воплощался проектной мечтою дурной,

и песочный макет вторил лику чужому
желтизной, покоренной неведом кем —
что-то было родное, но не по-родному
проступавшее в двойственных линиях схем,

до которых дошла, доросла, истончилась
эта плоть, этот призрак ее и напев,
что себя самое превозмочь не осияясь,
обрела очертанья рисованных дев,

словно части рисунка изъяв из картона,
кто-то вместе слепил их, придавши объем
то ль каркасом каким, то ль подобьем закона,
закрепленным с изнанки льняным полотном.

Неожиданность замысла, предназначанья
вперемешку с банальностью общих идей
проступала всюду, как лишившись дыханья,
оболочка лишалась прозванья людей.

и теперь вместе с градом песчано-искомым,
в изголовье вознесшимся до потолка,
это тело, манером сложив невесомым,
от ужимок избавила чья-то рука,

вознесла над собой и с собой примирила,
убрала его, бережно крылья сложив,
чтоб случайно не скомкала перьев могила,
чтоб спокойно покоились там, отслужив,

и раскрылись уверенно, без промедленья
в час, когда им придется взлететь налегке,
унося от беспечно-могильного тленья
эту душу к протянутой кем-то руке,

распрявиться и выпорхнуть с легким усилием,
как подросший птенец из сырого гнезда,
и сродниться навек с голубым изобильем,
как в полете застывшая утром звезда.

IV

Скособоченный стул, и на нем, то чернея,
то светясь и мерцая, то погаснувши вновь,
как раскрытая господе четья минея,
чьи страницы обуглены словом «любовь»,

неподвижно виднеясь, сидела фигура,
что застыла, похожая, будто твоя,
словно птица какая в предвестье авгура,
из распахнутых крыльев окно сотворя.

Падал свет от свечей на большие гвоздики,
и венцы их багрово пылали в свету,
и алтарь возносил их торжественно-тихий
в небывалую сумрачную высоту.

Две могильных звезды, две ликующих речи,
два убора венчальных, две жизни твоих
становились одной в неизбежности встречи,
на которую, видно, явился двойник,

и бродила еще неизбывная сила
в васильковом вине под запретами век,
точно снова душа их из тьмы возносила
перед тем, как начать одинокий разбег,

перед тем, как взлететь, встрепенуться, исчезнуть —
то ли свет убывающий, то ли напев, —

чтоб, возможно, уже никогда не воскреснуть,
всей единой душой всю себя облетев.

Остров Наксос покоен, и дни понемногу
отзываются зеленью бьющихся волн,
стихло сердце, другому завещано богу,
плачет парусом черным покинутый челн.

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

* * *

Душа моя тянется к дому. И видит — спасения нет.
Оно достается другому, однажды в две тысячи лет.
И то — исключительно чудом, в которое Томас, простак,
не в силах поверить, покуда пробитого сердца в перстах
не стиснет. И ты, собеседник, как в черную воду глядел,
в созвездиях, в листьях осенних, когда мы с тобой не
остались. Состарилось слово, горит, превращается в дым.
Одним в полумраке багровом рождаться. А что же
другим?

Такая вот очередь, милый. Любители жизни живой,
сойдясь с неприкаянной силой, назвали ее роковой,
придумали свет за оврагом,
прощальную чернь в серебре.
врагом называли и другом осинового крест на горе.
А пламя колеблется, копоть пятнает высокую речь,
Разорванного не заштопать, и новой заплате не лечь
на ветхую ткань золотую. И с прежним душевным трудом
мы странствуем, любим впустую, второго пришествия
ждем.

А где-то есть край окаянный, где гвардия ищет с утра
запомнивших треск деревянный
и пламя другого костра.
Оливы рассветные стынют, нужды никакой в мятеже.
Но каменный диск отодвинут, и тело исчезло уже.
А где-то есть край богомольный —
черемуха, клевер, осот.
Проселками вор сердобольный пропавшее тело несет:
И в поле у самой границы ночует и стонет во сне —
Опять ему родина снится, как раньше мерещилась мне.

А шелест воды нескончаем. Холодные камни блещут.
Послушай, ты так же случаен, как этот глухой водопад.
А что не убьют и не тронут, что лед превращается в мед,

то канет в крутящийся омут, непойманной рыбой
плеснет,
и там, за железной дорогой, у самой стены городской,
блеснет грозовой тревогой, кольнет бестолковой тоской
и ясно прошепчет — берите и горы, и ночь, и погост,
где дремлет душа в лабиринте огромных, внимательных
звезд.

Вермонт, август 1987.

* * *

Снятся ли сны?.. В переулках оставленных сыро,
ветер на Пушкинском, ветер на Звездном бульваре.
В дверь колочу кулаками, в свою же квартиру
силюсь пробраться — не слышат, не открывают.

Сны мои, сны, — словно пригоршню уличной соли
сыплют на рану. Ах, Господи, в здравом уме и
памяти-трезвой, ну кто бы по собственной воле
рвался туда, где бывало гораздо больше.

злей, беспросветней, где виделись только обиды?
Крепкие двери казенным железом обиты,
новый жилец, против всех человеческих правил,
волчьи капканы там вместо запоров поставил.

Выйду на улицу — воздух слоистый прохладен,
как у стекольщика в ящике — блещет, двоится.
Это мой дом, — вывожу аккуратно в тетради,
это моя ро... а дальше — пустая страница,

дальше — косая линейка, лиловая клетка,
столбики цифр, и опять я в разлуку не верю,
и до утра, на манер обезьяньего предка,
все колочу, колочу в бесполезные двери...

* * *

С. Г.

Привет тебе, Сергей. Я старый плагиатор,
сворю и теперь излюбленный размер
бродяги грустного, с которым мы когда-то...
Всего не вспомнишь, милый.

Прифронтовому братству

я цену знал — но вечная война
не по зубам иным. И вот — сумел убраться
черт-те куда, в другие времена.

Ты выйдешь к электричке, и собаку
отпустишь с поводка. Глубокие следы
оставишь на снегу. Прислушаешься к мраку.
сиянию звезды, свечению беды.

Зайдется поздняя железная дорога
тяжелым грохотом. Заветная тетрадь
почти пуста. Застынем у порога.
Есть время жить и время умирать.

Не злись — я не хочу заморскою вороной
ни каркать, ни учить, тем более что сам
знай карандаш грызу, как тот приговоренный,
все жалобы строчу по разным адресам.

Как бишь его — ты помнишь? — он однажды
советовал страдать для бойкости пера.
Ты — хмыкал, я — кивал, несчастий крупных жаждал,
и вот достукался. Пришла моя пора.

Пришла моя зима за морем-океаном,
замерзли реки, и багровый свет
над городом встает — но радоваться рано,
печален я и нем. Со мною друга нет.

В подвале тишина. Вступаю в жизнь вторую,
не зажигая света — потому,
что жду на ощупь, думаю вслепую,
и падаю, и падаю во тьму —

там меркнет день, в подветренной России
уже, наверно, полночь. Сыплет снег.
Несутся поезда холодные, пустые,
и на платформе слышен женский смех...

* * *

Винюватые ищут полета,
кистеперую мучают речь,
а у ветра — простая забота —
раздувать, перетряхивать, жечь.
Повторит позабытое имя —
и опять, без воды и огня.
небесами бежит дорогими,
безработные тучи гоня.

Я и сам ни о ком не тоскую,
и давно уже хочется мне
записаться на службу простую,
скажем, месяцем в зимнем окне.
Не болтать, и не плакать по дому,
одинокество честно терпеть,
да под утро — ребенку больному
колыбельную песенку петь...

* * *

Не убий — учили, — не спи, не лги.
Я который год раздаю долги,
Да мешает давний один должок:
Леденцовый город, сырой снежок.

Что еще в испарине тех времен?
Был студент речист, не весьма умен,
Наряжался рыжим на карнавал,
По подъездам барышень целовал.

Хорошо безусому по Руси
Милицейской ночью лететь в такси.
Тормознет — и лбом саданешь в стекло,
А очнешься — вдруг двадцать лет прошло.

Я тогда любил говорящих «нет»,
За капризный взгляд, ненаглядный свет,
Просыпалась жезнь, ноготком стуча,
Музыкальным ларчиком без ключа.

Я забыл, как звали моих подруг,
Дальнорук сделался, близорук,

Да и ты ослепла почти, душа,
В поездах простуженных мельтеша.

Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней.
Двадцать лет прошло, будто двадцать дней.
Деревянной лесенкой — мышь да ложь,
Поневоле слезное запоешь.

Голосит разлука, горчит звезда.
Я давно люблю говорящих «да»,
Все-то мнится — сердце сквозь даль и лед
Колокольным деревом прорастет.

А должок остался, на два глотка,
И записка мокрая коротка —
Засмоли в бутылку воды морской,
Той воды морской пополам с тоской,

Чтобы сны устроили свой парад,
Телефонный мучая аппарат,
Чтобы слаще выплеснуться виной —
Незабвенной, яблочной, наливной...

* * *

Воротиться в родные пенаты.
Что ж, обида не так велика.
Телеграмма летит к адресату —
слово за слово, к строчке строка.
Самого себя ставя в кавычки,
отгоняя кошмарные сны,
человек собирает вещички
в чемодан непомерной длины,

Все в кармане — и паспорт, и виза,
и билет, и другие дела.
Ходит голубь нью-йоркским карнизом,
и закат догорает дотла.
Ходит голубь, и сразу взлетает,
превращается в точку, и вниз
суетливо планирует стая
птиц таких же на тот же карниз.

Воротиться к пенатам и ларам,
и ларькам, и родным небесам,
полыхающим чудным пожаром,
по заветным пройти адресам,
под хмельком, в переулках понурых,
где бесчинствовать ветер горазд,
где колотится мерзлый окурок
о чернеющий мартовский наст...

Что мне чудится? Хрип? Или ропот
репродуктора возле виска?
Или конной милиции топот
после проигрыша «Спартака»?
Скрип качелей? Осипшая пленка
Окуджавы? Филевский фокстрот?
Улетаешь — несется вдогонку,
остаешься — за сердце берет.

Воротиться с гостинцами, ибо,
если пот и молчанье не в счет,
все пространство чужого разлива
металлическим медом течет.
Прозерпина моя, Персефона,
извини, если в чем виноват.
В запотевшие окна с балкона
небогатые звезды глядят.

Помолчим. Все что можно, сказали.
И таксист, -многословен и прост,
матерясь и визжа тормозами,
выезжает на Бруклинский мост.
Городское сияние во сто
раз умножено в темной воде.
Да и что в этой жизни не остров,
в море, в небе, неведомо где...

* * *

Что делать, родная, — метельный балет
не трогает мерзлой земли
Куда мне девать лотерейный билет,
в котором сплошные нули?
Попробовать счастья в другом тираже?

Но музыка гаснет уже,
и молодость явно подходит к концу,
и выигрыш мне не к лицу.

Бездомная ночь. Малахитовый глаз
такси — и безлюдная тьма.
Совиных, тем паче орлиных, у нас
не выросло, видишь сама.
Я все позабыл. Словно в шахматах, пат.
Король никуда не пройдет.
И только дареные звезды шипят,
на ломаный падая лед.

Иному — плевать на такой приговор,
Ему до могилы вольно
вполсилы молоть романтический вздор,
блистать голливудским кино.
А я — озираюсь в лихом тупике,
с потертой запиской в руке,
с обрывком рассказа, где ветер ночной
ни с чем возвращался домой...

О Господи. Мне ли сидеть у окна,
на раннюю старость ворча,
за ласковой мглой, за стаканом вина,
в халате с чужого плеча?
И все этот черный в проеме двёрном
приходит ко мне перед сном —
то рифму покажет, то выправит стих,
то выход подскажет — из самых простых.

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Цветков	3
Александр Воловик	24
Тимур Кибиров	37
Николай Голь	56
Алексей Дидуров	80
Петр Красноперов	83
Александр Брунько	98
Владимир Трофименко	111
Гарри Гордон	131
Павел Соколов	142
Борис Евсеев	151
Мария Ходакова	171
Елена Печерская	181
Галина Гордеева	194
Ольга Постникова	209
Светлана Максимова	221
Наталья Леонидова	238
Марина Вирта	250
Людмила Сурова	267
Лариса Фоменко	273
Юлия Покровская	287
Елена Дунская	298
Зоя Масленикова	313
Виктор Константинов	327
Нина Константинова	338
Изабелла Бочкарева	344
Сергей Барсуков	354
Быхыт Кенжеев	376

ГРАЖДАНЕ НОЧИ

ТОМ 2

Цикл «Неизвестная Россия»

**Книга выпущена при участии Ростовского-на-Дону
производственного кооператива «Оригинал»**

Ответственный за выпуск — В. Б. Толоченко

Редактор — В. В. Безбожный

Оформление — В. В. Вторенко

Технический редактор — Т. П. Рашина

ИБ № 2002.

Сдано в набор 2.11.90 г. Подписано в печать 14.01.91.
Формат 84×108/32. Бум. тип № 2. Гарнитура литературная.
сокая печать. Усл. п. л. 20,16. Тираж 5000 экз. Заказ 6821.
5 р. 70 коп.

Типография издательства «Луганская правда», 348022,
г. Луганск, ул. Лермонтова, 16.